

## Леонид Андреев Мои записки

### Часть 1

Мне было двадцать семь лет, я только что с выдающимся успехом защитил диссертацию на степень доктора математики – когда меня взяли среди ночи и ввергли в эту тюрьму. Я не стану подробно рассказывать вам о чудовищном преступлении, в котором меня обвинили: есть события, которых люди не должны ни помнить, ни знать, дабы не получить отвращения к самим себе; но, вероятно, существуют еще в живых многие, которые помнят этот страшный процесс и «человека-зверя», каким называли меня тогда газеты. Помнят, вероятно, и то, как все культурное общество страны единодушно требовало для преступника смертной казни, и только необъяснимой снисходительности тогдашнего главы государства обязан я тем, что живу и пишу сейчас эти строки в назидание людям слабым и колеблющимся. Скажу коротко: был зверски умерщвлен мой отец, старший брат и сестра, и преступление это совершил будто бы я с целью получения действительно огромного наследства.

Теперь я старик, скоро умру, и вам нет ни малейшего основания сомневаться, если я скажу, что был совершенно не виновен в чудовищном и страшном злодеянии, за которое двенадцать честных и добросовестных судей единогласно приговорили меня к смертной казни. Просто роковое сцепление обстоятельств, больших и маленьких событий, темного молчания и неясных слов мне, невинному, придали облик и видимость злодея<sup>1</sup>. И глубоко ошибся бы тот, кто заподозрил бы меня в нерасположении к моим строгим судьям: нет, они были совершенно правы, совершенно правы. Как люди, которые могут судить о вещах и событиях только по видимости их и лишены возможности проникнуть в их сокровенное существо, они не могли и не должны были поступить иначе. Случилось так, что в игре событий правда о моих поступках, которую я знал только один, приобрела все черты наглой и даже бесстыдной лжи: и как это ни странно покажется моему любезному и серьезному читателю, *не правдой, а только ложью мог бы я восстановить и утвердить истину о моей невинности*. Впоследствии, уже в тюрьме, воспроизводя во всех подробностях историю преступления и суда и представляя себя на месте одного из судей, я каждый раз неизбежно приходил к полному убеждению в своей виновности. Тогда же я произвел одну интересную и поучительную работу: откинув совершенно вопрос о правде и лжи по существу, я подверг факты и слова многочисленным комбинациям, строя из них здания, как маленькие дети строят различные сооружения из своих деревянных кубиков; и после упорных стараний мне удалось наконец найти одну такую комбинацию фактов, которая, будучи ложной по существу, по видимости своей была столь правдоподобна, что моя истинная невинность становилась безусловно ясной, точно и твердо установленной. До сих пор помню то огромное, не лишенное страха, чувство изумления, какое испытал я при моем странном и неожиданном открытии: говоря правду, я привожу людей к ошибке и тем обманываю их; утверждая ложь, привожу их, наоборот, к истине и познанию. Тогда я еще не понимал, что неожиданно, подобно Ньютону с его знаменитым яблоком, я открыл великий закон, на котором зиждется вся история человеческой мысли, ищущей не правды, которой ей не дано знать, а правдоподобности, т. е. гармонии между видимым и мыслимым, на основании строгих законов логического мышления. И вместо того, чтобы радоваться, я в наивном, юношеском отчаянии восклицал: «Где же правда? Где же правда в этом мире призраков и лжи?» (См. мой «Дневник заключенного» от 29 июня 18...)

---

<sup>1</sup> Как я уже упомянул, смертная казнь была впоследствии заменена пожизненным заключением в одиночной камере.

Я знаю, что в настоящее время, когда мне осталось жить каких-нибудь пять-шесть лет, меня легко могли бы помиловать, если бы я попросил об этом. Но, помимо привычки к тюрьме и других весьма важных причин, о которых я сообщу ниже, я просто не в праве просить о помиловании и тем нарушать силу и естественное течение законного и вполне справедливого приговора. И отнюдь не желал бы я слышать в применении к себе слова: «жертва судебной ошибки», как выражались, к моему огорчению, некоторые из моих любезных посетителей. Повторяю, ошибки нет и не может быть там где, при совокупности определенных данных, нормально устроенный и развитой мозг непременно приходит к одному и единственному выводу.

Я осужден справедливо, хотя и не совершал преступления, – такова та простая и ясная истина, в уважении к которой я радостно и спокойно доживаю на земле мои последние годы.

И единственная цель, какою руководился я при составлении моих скромных "Записок", это показать моему благосклонному читателю, как при самых тягостных условиях, где не остается, казалось бы, места ни надежде, ни жизни, – человек, существо высшего порядка, обладающее и разумом и волею, находит то и другое. Я хочу показать, как человек, *осужденный на смерть*, свободными глазами взглянул на мир сквозь решетчатое окно своей темницы и открыл в мире великую целесообразность, гармонию – и красоту<sup>2</sup>. Некоторые из посетителей моих упрекают меня в «надменности», спрашивают, откуда я взял право учить и проповедовать: жестокие в недомыслии своем, они хотели бы и улыбку согнать с лица того, кто как убийца навеки заключен в тюрьму. Нет, – как не сойдет с уст моих благожелательная и ясная улыбка, свидетельство совести чистой и незапятнанной, так никогда не помрачится моя душа, бестрепетно прошедшая сквозь теснины жизни, мощным подъемом воли перенесшая меня через те страшные пропасти и бездонные провалы, где так много смельчаков нашло геройскую, но – увь! – бесплодную гибель. И если тон моих «Записок» иногда может показаться благосклонному читателю *слишком* решительным, то это отнюдь не отсутствие скромности, а лишь твердая уверенность в своей правоте и столь же твердое желание быть полезным ближнему по мере слабых сил моих.

Здесь же я должен извиниться, что буду неоднократно, по степени надобности, ссылаться на мой "Дневник заключенного", неизвестный читателю; но дело в том, что полное опубликование "Дневника" я считаю преждевременным и даже, быть может, опасным. Начатый в далекую юношескую пору жестоких разочарований, крушения всех верований и надежд, дышащий беспредельным отчаянием, он местами с очевидностью свидетельствует, что автор его находился если не в состоянии полного сумасшествия, то на роковой грани его. И если мы вспомним, как заразительна эта болезнь, то моя осторожность в пользовании дневником станет вполне понятной.

О цветущая юность! С невольной слезою во взоре я вспоминаю твои роскошные сны, твои дерзновенные мечты и порывы, твое буйное кипение сил, но не желал бы я твоего возвращения, о цветущая юность! Только с сединою волос приходит ясная мудрость и та великая способность к бескорыстному созерцанию, какая всех старцев делает философами и часто даже мудрецами.

## Часть 2

Те из моих любезных посетителей, которые оказывают мне честь выражением своего восторга и даже – да простится мне эта маленькая нескромность! – даже преклонения перед моей душевной ясностью, едва ли могут представить, каким явился я в эту тюрьму. Десятки лет, пронесшихся над моей головою и побеливших мои волосы, не могут заглушить того

---

<sup>2</sup> Как бы мне хотелось этими словами пристыдить тех безумцев, которые, живя на свободе, в довольстве и счастье, отвратительно клеветают на жизнь и отрицают непонятный им высший смысл в существовании человека.

легкого волнения, какое испытываю я при воспоминании о первых минутах, когда со скрипом ржавых петель открылись и навсегда закрылись за мною роковые двери.

Не одаренный литературным талантом<sup>3</sup>, я постараюсь со всевозможной точностью представить моему благосклонному читателю себя в ту давнишнюю пору.

Это был почти юноша, 27 лет, как я уже имел случай упомянуть, нрава несдержанного, порывистого, способного к резким уклонениям. Некоторая мечтательность, свойственная возрасту, самолюбие, легко оскорбляемое и становящееся на дыбы при каждом ничтожном поводе, задорная стремительность в решении мировых проблем, припадки меланхолии, чередующиеся с такими же дикими припадками веселья – все это придавало юному математику характер крайней неустойчивости, печальной и резкой дисгармоничности.

Не лишним считаю упомянуть о чрезмерной гордости, фамильной черте, унаследованной мною от матушки и нередко мешавшей мне внимать советам людей более опытных и зрелых, а также о крайнем упорстве в проведении целей, свойстве, самом по себе и хорошем, но становящемся опасным в тех случаях, когда поставленная цель недостаточно продумана и обоснована.<sup>4</sup>

И вот первые дни заключения я вел себя, как и все другие безумцы, попадающие в тюрьму. Я громко и, конечно, бесцельно кричал о моей невиновности, яростно требовал немедленного освобождения и даже стучал кулаками в дверь и стены, оставляя их, естественно, глухими, а себе причиняя довольно сильную боль. Помню, я даже бился головою о стены и часами лежал в беспамятстве на каменном полу камеры; и в течение некоторого времени, дойдя до отчаяния, отказывался от употребления пищи, пока настойчивые требования организма не победили моего упрямства<sup>5</sup>. Конечно, душевная и умственная сторона моей жизни соответствовала всему вышеизложенному. Я проклинал моих судей и грозил им беспощадной мстью, наконец всю человеческую жизнь, весь мир, даже небо я стал признавать одной огромной несправедливостью, насмешкою и глумлением. Забывая, что в моем положении я едва ли могу быть беспристрастным, я с самоуверенностью юноши, с болезненной остротой узника приходил постепенно к полному отрицанию жизни и ее великого смысла. Это были действительно ужасные дни и ночи, когда, сдавливаемый стенами, не получающий ответа ни на один из своих вопросов, я бесконечно шагал по камере и одну за другой бросал в черную пучину все великие ценности, которыми одарила нас жизнь: дружбу, любовь, разум и справедливость.

В некоторое оправдание могу привести то обстоятельство, что как раз в эти первые и наиболее тяжелые годы произошел целый ряд событий, весьма тягостно отразившихся на моей психике. Так, с глубочайшим негодованием я узнал, что девушка, имени которой я не назову и которая должна была стать моею женой, вышла замуж за другого. Она, одна из немногих, верила в мою невиновность, еще при последнем прощании она клялась оставаться мне верной до гроба и скорее умереть, нежели изменить любви, – и вот всего лишь через год она вышла замуж за господина, которого я знал, человека, хотя и обладающего некоторыми достоинствами, но далеко не умного. Я не хотел понять, насколько подобный брак был естественным со стороны молодой, здоровой и красивой девушки, одаренной вдобавок особенной склонностью к материнству, – сам присужденный к длительной смерти, я хотел,

---

<sup>3</sup> То, что люди называют обычно "литературным талантом" и чем так наивно восхищаются, есть в сущности не что иное, как неудержимая склонность к вымыслу и лжи.

<sup>4</sup> Подобно тому, как человек, обладающий походкою быстрою и решительною, попав на неверный путь, пойдет значительно дальше и возврат сделает более затруднительным, чем тот, кто движется медленно и вяло.

<sup>5</sup> Обычно я кушаю умеренно, но, обладая сильным и крепким телом, со свойственным ему энергичным и быстрым обменом веществ, я очень скоро слабею при полном отсутствии пищи.

чтобы и она, неизвестно для чего, разделила мою участь<sup>6</sup>. В настоящее время госпожа NN – счастливая и уважаемая мать, и это лучше всего показывает, насколько целесообразен и совершенно согласен с требованиями природы и жизни был ее тогдашний, столь огорчивший меня брак.

Должен сознаться, однако, что в ту пору я был далек от спокойствия. Ее чрезвычайно милое и любезное письмо, в котором она уведомляла меня о своем браке, выражая глубокое сожаление, что изменившиеся обстоятельства, внезапно вспыхнувшая любовь принуждают ее нарушить данное обещание, – это милое, правдивое, пахнувшее духами, хранящее следы ее нежных пальцев письмо показалось мне посланием самого дьявола.

Огненные письма жгли мой измученный мозг, и в диком исступлении я сотрясал двери моей камеры и звал неистово: "Приди! Дай мне только взглянуть в твои лживые глаза! Дай мне только услышать твой лживый голос! Дай мне только прикоснуться пальцами к твоему нежному горлу и в твой предсмертный крик влить мой последний, горький смех" (см. "Дневник заключенного" от 14 дек. 18...).

Из приведенной цитаты мой благосклонный читатель усмотрит, насколько были правы судьи, осудившие меня за убийство: воистину они прозревали во мне убийцу.

Мрачности тогдашнего моего мирозерцания содействовали некоторые другие события, естественности которых не мог понять мой помутившийся рассудок. Через два года после брака моей невесты, а, следовательно, после моего заключения в тюрьму через три, умерла моя мать, и умерла, как мне передавали, от глубочайшей скорби за меня. Как это ни странно, она до конца дней своих хранила твердую уверенность, что это я совершил чудовищное злодеяние. По-видимому, это убеждение было неиссякаемым источником скорби и главной причиной той черной меланхолии, которая сковала ее уста молчанием и вызвала смерть от паралича сердца. Как мне передавали, она никогда не упоминала моего имени, равно как и имен умерших столь трагически, и все свое огромное состояние, послужившее будто бы мотивом к совершению убийства, завещала на различные благотворительные цели.<sup>7</sup>

Теперь я понимаю, что, как бы ни велика была ее скорбь, одной ее было бы недостаточно для смерти, истинной причиной которой был преклонный возраст моей матушки и целый ряд болезней, естественно расшатавших ее когда-то крепкий и стойкий организм. Во имя справедливости я должен сказать, что мой покойный отец, человек весьма слабохарактерный, далеко не был примерным мужем и семьянином и многочисленными изменами, ложью и обманом доводил мою матушку до отчаяния, непрестанно оскорбляя ее гордость и строгую, неподкупную правдивость. Но тогда я не понимал этого, смерть матери показалась мне одним из жесточайших проявлений мировой несправедливости и вызвала новый поток бесцельных и кощунственных проклятий.

Не знаю, должен ли я утомлять внимание читателя рассказом о других событиях однородного свойства. Упомяну коротко, что меня один за другим перестали посещать мои друзья, оставшиеся у меня от того времени, когда я был счастлив и свободен. По их словам, они верили в мою невиновность и первое время горячо выражали мне свое сочувствие. Но наши жизни, моя в тюрьме и их на свободе, были столь различны, что постепенно, под

---

<sup>6</sup> Особенно диким покажется читателю этот взгляд, если вспомнить, что я был хорошо знаком с естественными науками и лучше всякого другого мог понимать, насколько повелительны требования здорового инстинкта. Но – увы! – все мы забываем о естественных науках, когда нам изменяет любимая женщина, – да простится мне эта маленькая шутка.

<sup>7</sup> Очень характерно то обстоятельство, что даже при таких ужасных условиях материнский инстинкт не совсем покинул ее: в приписке к завещанию некоторую, довольно значительную сумму она оставила мне, вполне обеспечивая мое существование как в тюрьме, так и на свободе. Отсюда, как мне кажется, следует и тот вывод, что противоестественная уверенность в моей вине не была у моей честной матушки достаточно твердой и обоснованной.

давлением совершенно естественных причин: забывчивости, служебных и иных обязанностей, отсутствию общих интересов, они стали являться на свидания все реже и реже и под конец исчезли совсем. Не могу без улыбки вспомнить: даже смерть матери, даже измена любимой девушки не вызвали во мне такого безнадежно-горького чувства, какое удалось исторгнуть из души моей этим господам, имена которых теперь я и сам плохо помню.

"Какой ужас, какая боль!.. Друзья мои, вы оставили меня одного! Друзья мои, вы понимаете, что вы сделали: вы оставили меня одного? Разве мыслимо оставлять человека *одного* ? Даже у змеи есть товарищ, даже у паука есть подруга, – а человека вы оставили одного. Дали ему душу – и оставили одного; дали сердце, разум, дали руку для пожатия, уста для поцелуя – и оставили одного! Что же делать человеку, когда его оставили одного?" – так восклицал я в «Дневнике заключенного», терзаясь горестными недоумениями. В юношеском ослеплении своем, в боли молодого, неразумного сердца я все еще не хотел понять, что одиночество, на которое я так горько жалуюсь, подобно разуму, есть *преимущество*, данное человеку перед другими тварями, дабы оградить от чуждого взора святые тайны его души.<sup>8</sup>

И, называя друзей моих "вероломными изменниками, предателями", не мог я, несчастный юноша, понять того мудрого закона жизни, по которому не вечны ни дружба, ни любовь, ни даже нежнейшая привязанность сестры и матери. Обманутый ложью поэтов, провозгласивших вечную дружбу и любовь, я не хотел видеть того, что каждодневно наблюдает из окон своего жилища мой благосклонный читатель: как друзья, родные, мать и жена, в видимом отчаянии и слезах, провожают на кладбище дорогого покойника и по истечении времени *возвращаются обратно*. Никто не закапывается вместе с мертвецом, никто не просит его потесниться и дать место возле себя в гробу, и если горестная жена восклицает, обливаясь слезами: «о, закопайте меня вместе с ним!», то этим символически она выражает лишь крайнюю степень своего отчаяния<sup>9</sup>. И те, кто удерживают ее, также лишь символически выражают свое сочувствие и понимание, придавая этим похоронному обряду необходимый характер торжественной печали.

Законам жизни, а не смерти и не поэтического вымысла, как бы ни был он прекрасен, должен подчиняться человек. Да и может ли быть прекрасным *вымысел*? Разве нет красоты в суровой правде жизни, в мощном действии ее непреложных законов, с великим беспристрастием подчиняющих себе как движение небесных светил, так и беспокойное сцепление тех крохотных существ, что именуются людьми!

Припоминаю при этом не лишенный интереса случай, относящийся к тому далекому времени, когда я был еще безбородым юношей, студентом второго курса. В группе с товарищами-однокурсниками я работал над трупом какого-то неизвестного, уже пожилого человека. Помню то отвращение, с каким первоначально услышал я гнилостный запах разложения, то чувство нестерпимой брезгливости и даже страха, какое испытал я при первом прикосновении моих живых пальцев к гниющему мясу. Но, захваченный интересной работой, я постепенно привык к дурному запаху, а вскоре, в один из увлекательнейших вечеров, когда случайно мне пришлось работать одному, я неожиданно почувствовал глубочайший восторг перед необыкновенным зрелищем – обратного шествия материи от жизни к смерти, от сложнейшей конструкции живого организма к простейшим элементам

---

<sup>8</sup> Пусть рассудит мой серьезный читатель, во что превратилась бы жизнь, если бы отнять у человека его право, его обязанность быть одиноким? В сборище праздных болтунов, в унылую коллекцию прозрачно-стеклянных, убивающих друг друга своим однообразием, в дикий город, где все двери открыты, окна распахнуты, и прохожие скучливо, сквозь стеклянные стены, наблюдают одни и те же явности очага и алькова. Только та тварь, что одинока, обладает лицом, и морда, вместо лица, у тех тварей, что не знают великого благодатного одиночества души.

<sup>9</sup> В этом легко может убедиться сторонний наблюдатель, попробовавши хотя бы в шутку столкнуть ее в могилу.



вещества. Долго в экстазе, который я осмелюсь назвать религиозным, любовался я трупом, сам своей неподвижной фигурой, со скальпелем в одной руке, с другой рукою, поднятою ввысь, уподобляясь объекту моего восхищенного созерцания. Так даже в юные годы случайной гостьей навещала меня прекрасная истина, полным обладанием которой только теперь я вправе гордиться.

Позволив себе это краткое, быть может, излишнее отступление, я перехожу к дальнейшему повествованию.

### Часть 3

Так печально прожил я в тюрьме пять или шесть лет.

Первый спасительный луч мелькнул для меня как раз с той стороны, откуда я всего менее мог ожидать его. Здесь я должен извиниться перед читателями и особенно очаровательными читательницами, что вынужден буду говорить о вещах, о которых обычно умалчивают или ограничиваются смутными намеками. Но великий разум, который путем долгого искуса и страдания я открыл во всех явлениях жизни, да рассеет перед вами ту прозрачную мглу, которую люди неумные, невежественные и часто лицемерные набрасывают на важнейшие стороны жизни человека. Внешней неприличности дальнейшего повествования послужит оправданием, если таковое нужно, его целомудренный и высокий смысл.

Как вы, вероятно, уже догадались, речь идет о так называемом "гнусном пороке"<sup>10</sup>, к которому я естественно приведен был всей совокупностью обстоятельств.

Вначале, полный смутного и тоскливого отвращения, я упорно сопротивлялся естественному влечению, но сладкие галлюцинации и сны, наконец, полная невозможность бороться далее с телом, законно требующим своего, привели меня к тому, что я открыто и смело ступил на путь искусственного удовлетворения половой потребности. Обладая даром некоторой фантазии, неизменным объектом своих одиноких любовных вожделений я сделал ее, мою бывшую невесту, мою любовь, мою мечту и, если можно так выразиться, жил с нею в честном браке все эти десятки лет, пока совершенно естественно, с наступлением старости, не погасла во мне потребность в половом общении. И время, которое в движении своем уравнивает факты с продуктами фантазии, одинаково оставляя их только в памяти и больше нигде, дает мне, старцу, сладкую возможность воспоминаний: если бы не боязнь утомить внимание читателя, я мог бы передать ему долгую повесть любовных восторгов, мук ревности, тоски ожидания и радости мгновенных тайных встреч. И могу уверить, что эта повесть была бы несколько не хуже, не короче, не менее реальна, чем то, что мог бы рассказать нам о своей жизни с г-жой NN ее фактический муж.

Этот случай, сам по себе, быть может, и не столь значительный, показал мне, однако, что, как человек, существо высшего порядка, обладающий не только инстинктом, но и разумом, я могу стать выше обстоятельств и найти исход там, где неразумное животное, вероятно, погибло бы жертвой мучительной неудовлетворенности.<sup>11</sup>

Второе, – это случилось почти одновременно с моим вступлением в брак, – что вдруг открыло почву под моими ногами, было, как это ни странно, создавшееся убеждение, *что бегство из тюрьмы для меня невозможно*.

Первое время моего заключения я, как пылкий юноша-фантазер, строил всевозможные

---

<sup>10</sup> Какое нелепое название! Как мало люди разбираются в том, что действительно порочно и что часто лишь естественно и необходимо!

<sup>11</sup> Известны факты, когда некоторые животные прибегали к искусственному удовлетворению половых потребностей; но большею частью это происходило совершенно случайно, как опыт едва ли может быть повторено и во всяком разе безусловно лишено разумности.

планы бегства, и некоторые из них казались мне вполне осуществимыми. Питая обманчивые и несбыточные надежды, эта мысль, естественно, держала меня в состоянии напряженной тревоги и мешала сосредоточиться моему вниманию на более важном и существенном<sup>12</sup>. Отчаявшись в осуществимости одного плана, я немедленно создавал другой, но, конечно, не подвигался вперед, а лишь двигался по замкнутому кругу. Едва ли нужно упоминать, что при этом каждый переход от одной мечты к другой был сопряжен с жестокими страданиями, терзавшими мою душу, как орел тело Прометея.

Но вот однажды, всматриваясь усталым взором в стену своей камеры, я вдруг почувствовал, как непреодолимо толст камень, как крепок цемент, его соединяющий, как искусно, с точным, почти математическим расчетом сложена эта грозная твердыня. Правда, первое ощущение было чрезвычайно тягостно; пожалуй даже, это был ужас безнадежности.

Здесь как в моей памяти, так и в "Дневнике" существует некоторый пробел; я решительно не могу припомнить, что делал я и чувствовал в течение двух или трех последующих месяцев. И первая запись в дневнике, появившаяся после долгого периода молчания, своей незначительностью не дает ключа к разгадке: в коротких и сжатых выражениях я сообщаю лишь, что мне сшили новое платье, и что я пополнел (см. "Дневник заключенного" от 16 апреля 18...).

Факт тот, что, погасив все надежды, сознание невозможности бегства раз и навсегда погасило мучительную тревогу и освободило от рабства мой ум, уже и тогда склонный к возвышенному созерцанию и радостям математики. Все еще смутно, но уже с настойчивостью, обещавшей близкое освобождение, я стал посвящать мои дни тому, что с помощью догадок и приблизительных расчетов начал вычислять размеры и твердость стен, включая сюда и те, что со всех сторон облегали нашу тюрьму<sup>13</sup>. Многочисленные чертежи, испещряющие тогдашний мой «Дневник», свидетельствуют о кропотливой и беспримерно настойчивой работе моей пробудившейся мысли, а дважды в разных местах повторенное и подчеркнутое гордое слово «иногда»<sup>14</sup> уже тогда роднит меня со славным мудрецом древности, умевшим решать великие проблемы под градом вражеских стрел, на пепелище родного города.

Но первым настоящим днем освобождения я считаю следующий. Это было прекрасное весеннее утро<sup>15</sup>, и в открытое окно вливался живительный, бодрый воздух; и, гуляя по камере, я каждый раз при повороте, бессознательно, со смутным интересом взглядывал на высокое окно, где на фоне голубого безоблачного неба четко и резко вычерчивала свой контур железная решетка.

"Почему небо так красиво именно сквозь решетку? – размышлял я, гуляя. – Не есть ли это действие эстетического закона контрастов, по которому *голубое* чувствуется особенно сильно наряду с *черным*? Или не есть ли это проявление какого-то иного, высшего закона, по которому *безграничное* постигается человеческим умом лишь при непременно условии введения его в *границы*, например, включения его в *квадрат*? "

---

<sup>12</sup> Пусть вспомнит мой благосклонный читатель прелестную сказочку А. Шопенгауэра об итальянском осле, которого заставляют подвигаться тем, что впереди перед самой мордой привязывают на палке кусок душистого сена. И бедный осел – животное далеко не глупое – идет туда, куда посылают его выгоды господина.

<sup>13</sup> До сих пор, к сожалению, я не могу узнать имени инженера, строившего нашу тюрьму: по-видимому, и сам г. начальник, за давностью времени, забыл его имя. Так неблагодарна память у лучших людей! Впрочем, анонимность в строении нашей тюрьмы нисколько не мешает ее солидности и не уменьшает нашей благодарности к неизвестному творцу.

<sup>14</sup> "Я изобрел" (древнегреч.).

<sup>15</sup> 6-го мая.

Вспомнив затем, как всегда в той жизни, при взгляде в широко открытое окно, не защищенное решеткой, или в небесный простор, я испытывал потребность лететь, мучительную по своей явной бесплодности и нелепости<sup>16</sup>, – я вдруг почувствовал нежность к решетке, нежную благодарность, почти любовь. Скованная руками, слабыми человеческими руками какого-нибудь невежественного кузнеца, даже не отдающего себе отчета в глубоком смысле своего создания, вделанная в стену столь же невежественным каменщиком, она вдруг явила собою образец глубочайшей целесообразности, красоты, благородства и силы. Схватив в свои железные квадраты бесконечное, она застыла в холодном и гордом покое, пугая людей темных, давая пищу для размышления людям рассудительным и восхищая мудреца!

Это счастливое наблюдение, сделанное в прекрасное весеннее утро<sup>17</sup>, послужило только началом к целому ряду таких же. Откинув все личное, вглядываясь в окружающее холодным и зорким взглядом наблюдателя, я вскоре пришел к чрезвычайно ценному выводу, *что и вся наша тюрьма построена по крайне целесообразному плану, вызывающему восторг своею законченностью.*

#### Часть 4

Дабы сделать дальнейшее повествование более понятным моему благосклонному читателю, я вынужден сказать несколько слов о том исключительном, весьма для меня лестном и, боюсь, даже не вполне заслуженном положении, какое занимаю я в нашей тюрьме. С одной стороны, моя душевная ясность, редкая законченность мирозерцания и благородство чувств, поражающие всех моих собеседников, с другой – некоторые весьма, впрочем, скромные услуги, оказанные мною г. начальнику, создали для меня ряд привилегий, которыми я пользуюсь, конечно, вполне умеренно, не желая выходить из общего плана и системы нашей тюрьмы. Так, на еженедельные, отнюдь не ограниченные временем свидания ко мне допускаются все желающие меня видеть, что подчас составляет довольно изрядную аудиторию. Не смея вполне принять уверения г. Начальника<sup>18</sup>, что я мог бы составить «гордость любой тюрьмы», я могу, однако, без ложной скромности сказать, что слова мои пользуются надлежащим весом и что среди посетителей моих я насчитываю немало горячих почитателей и пылких почитательниц. Упомяну, что сам г. начальник, равно как и помощники его, нередко оказывают мне честь своим посещением, черпая у меня силу и мужество для продолжения их нелегкого труда. Конечно, вполне свободно я пользуюсь тюремной библиотекой и даже архивом тюрьмы; и если на мою просьбу дать мне точный план тюрьмы г. начальник ответил вежливым отказом, то отнюдь не по чувству недоверия ко мне, а лишь потому, что таковой план составляет государственную тайну. Признаюсь, не без некоторого трепета приступаю я к изображению нашей тюрьмы.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Помню то завистливое чувство, какое в детстве испытывал я даже по отношению к воробьям, этим прозаическим птицам, пользующимся своею способностью летать только для того, чтобы с одной кучи лошадиного навоза переноситься на другую. Но мне, человеку, казалось сверхъестественно обидным, что я, человек, не имею того, чем обладает глупый воробей. Только теперь я понял, что воздушный полет в пределах нашей земной атмосферы ничего не изменит в нашем стремлении к бесконечному полету и бесплодность его сделает еще более мучительною. И, вместо того чтобы радоваться успехам воздухоплавания, как это делают мои современники, я предложил бы им серьезно задуматься над вопросом, не лучше ли для человека полная неподвижность, в крайнем случае твердое и верное ползание по земле, нежели обманное порхание в клетке? Конечно, я шучу: как новый способ передвижения, воздухоплавание имеет огромную и светлую будущность.

<sup>17</sup> 6-го мая.

<sup>18</sup> К сожалению, несколько иронические.

<sup>19</sup> Так как материалом для описания служат главным образом мои наблюдения, естественно ограниченные



Это – огромное пятиэтажное здание, имеющее форму буквы Т, со стенами, сложенными в пять, местами в шесть кирпичей. Расположенное на окраине города, на границе пустынного, поросшего бурьяном поля, оно издали привлекает взоры путника своими суровыми очертаниями, суля ему покой и отдых от бесконечных скитаний. Не будучи оштукатурено, здание сохраняет естественный темно-бурый цвет старого кирпича и вблизи, как говорят, производит впечатление сумрачное, даже угрожающее, особенно на людей нервных, которым красные кирпичи напоминают кровь и кровавые куски человеческого мяса. Небольшие темные, плоские окна с железными решетками естественно завершают это впечатление и всему целому придают характер угрюмой гармоничности, суровой и мрачной красоты. Даже в хорошие дни, когда на нашу тюрьму светит солнце, она не теряет вида мрачной и угрюмой важности и непрестанно напоминает людям, что законы существуют и нарушителей их ждет кара, кара, кара!<sup>20</sup>

Моя камера находится на высоте пятого этажа, и в решетчатое окно открывается прекрасный вид на далекий город и часть пустынного поля, уходящего направо; налево же, вне пределов моего зрения, продолжается предместье города и находится, как мне сказали, церковь с прилегающим к ней городским кладбищем. О существовании церкви и даже кладбища я знал, впрочем, и раньше по печальному перезвону колоколов, какого требует обычай при погребении умерших.

Вполне соответствуя внешней выдержанности стиля, внутреннее устройство тюрьмы столь же закончено, гармонично и целесообразно. Чтобы яснее представить это моему читателю, я позволю себе привести пример безумца, который вздумал бы убежать из нашей тюрьмы. Допустим, что смельчак обладает сверхъестественной геркулесовской силой и ломает замок на своей двери, – что он находит? Коридор, многократно прегражденный решетчатыми дверьми, способными выдержать канонаду, и вооруженных надзирателей. Допустим, что он убивает всех надзирателей, ломает все двери и выбирается на двор – быть может, он думает, что он уже на свободе? А стены? А стены, что трижды каменным кольцом обвивают нашу тюрьму!

Допуская всю эту галиматью – я умышленно упустил из виду надзор. А надзор неусыпен. День и ночь я слышу за дверьми шаги тюремщика, день и ночь в маленькое окошечко на двери за мною следит чей-то глаз, контролируя мои движения, читая на лице моем мои мысли, мои намерения, наконец, мои сны. Днем я могу усыпить его внимание ложью, придав лицу выражение веселое и беззаботное, но я еще не встретил почти человека, который мог бы лгать и во сне. Как бы ни охранял я себя днем, ночью я выдам себя невольным стоном, судорогой в лице, выражением усталости и тоски и другими проявлениями совести нечистой и беспокойной<sup>21</sup>. И для меня является огромным счастьем то, что я не преступник, что совесть моя спокойна и чиста: читай, мой друг, читай, – говорю я неусыпному глазу, спокойно укладываясь спать, – ты ничего не прочтешь на моем лице!

---

моим положением узника, то заранее извиняюсь за его неполноту. Считаю своим долгом принести в этих строках горячую благодарность тем из моих любезных посетителей, которые снабдили меня большим количеством фотографий и рисунков, дающих мне возможность составить довольно точное представление о внешнем виде нашей тюрьмы.

<sup>20</sup> Интересно то обстоятельство, что крик ворона, которому народное поверье приписывает злое и даже угрожающее значение, когда он раздается над головою, довольно верно воспроизводит своим звуком это чисто человеческое слово: кара! кара! В зимние сумерки, когда над пустынным полем и над крышею нашей тюрьмы носятся тучи бесприютного воронья, я слышу, даже сквозь толстые стекла, этот неумолчный и злоеющий крик: кара! кара! кара!

<sup>21</sup> Лишь очень немногие люди, с чрезвычайно сильной волей, умеют лгать и во сне, искусно управляя мышцами лица, даже нередко сохраняя приветливую и ясную улыбку на устах в то время, как душа их, отданная во власть сновидениям, трепещет ужасами чудовищного кошмара, – но как исключения они не могут приниматься в соображение.

Но в одном случае тот, кто наблюдает за мной, стал невольным поверенным моим: читатель догадывается, конечно, что речь идет о моей любви к г-же NN. Должен, однако, отдать справедливость той крайней и благородной деликатности, с какою наблюдающий за мною удаляется от окна, заметив мое характерно возбужденное состояние и некоторые приготовления. Очень возможно, впрочем, что это делается по распоряжению г. начальника, из естественного чувства благодарности, так как окошечко в двери – мое изобретение. *Да, это я изобрел окошечко в двери.*

Я чувствую, что мой читатель удивлен и недоверчиво улыбается, мысленно обзывая меня старым фанфароном и лгуном, – но есть случаи, где скромность излишня и даже вредна. Да, это простое и в своей простоте гениальное изобретение принадлежит мне, так же, как Ньютону – его бином, Кеплеру – его законы вращения светил.

Впоследствии, поощренный успехом моего изобретения, я открыл и ввел в обиход тюрьмы целый ряд маленьких усовершенствований, но они касались деталей: формы замков и т. п., и, как все другие маленькие изобретения, влились в общее русло жизни, увеличив ее правильность и красоту, но не сохранив за собою имени автора<sup>22</sup>. Окошечко же в двери – мое, и всякого, кто осмелится отрицать это, я назову лжецом и негодяем.

Пришел я к моему изобретению при следующих обстоятельствах: однажды во время проверки некий арестант железной ножкой от кровати убил вошедшего к нему надзирателя. Конечно, негодя повесили на дворе нашей же тюрьмы, и администрация легкомысленно успокоилась, но я был в отчаянии: великая *целесообразность тюрьмы оказывалась мнимой*, раз возможны такие вопиющие факты. Как можно было не заметить, что арестант отломал ножку от своей кровати? Как можно было не заметить, наконец, того несомненно возбужденного состояния, в каком он должен был находиться перед совершением убийства и каковое его внимательному наблюдателю, если бы таковой существовал, дало бы возможность предотвратить происшедшее?

Поставив вопрос столь точно и прямо, я уже тем самым значительно приблизился к решению загадки; и действительно, по прошествии двух или трех недель я совершенно просто и даже как будто неожиданно пришел к моему великому изобретению. Сознаюсь откровенно, что до сообщения моего изобретения г. начальнику тюрьмы я пережил минуты некоторого колебания, весьма естественного в моем положении узника. Читателю, который все же удивится этому колебанию, зная меня за человека с чистой и незапятнанной совестью, я отвечу цитатой из моего "Дневника заключенного", относящейся к тому времени (1 сент. 18...):

"Как затруднительно положение человека, осужденного безвинно, подобно мне. Если он печален, если уста его скованы молчанием и глаза опущены долу, про него говорят: он раскаивается, он мучится угрызениями совести. Если в невинности сердца своего он улыбается ясно и благожелательно, наблюдатель мыслит: вот лживой и притворной улыбкой хочет он скрыть свою зловещую тайну. Что бы он ни делал, он кажется виновным, – такова сила предвзятости, с которой предстоит мне бороться. Но я не виновен и буду самим собою в твердой уверенности, что ясность духа моего разрушит злые чары предубеждения".<sup>23</sup>

И уже на следующий день г. начальник тюрьмы горячо жал мне руки, выражая свою

---

<sup>22</sup> Между прочим, по моему совету была изменена форма кандалов в нашей тюрьме: вместо прежних колец я ввел двойное полуovalное кольцо, представляющее собою в чистом виде тот знак, который в математике символизирует бесконечность; впрочем, это изобретение относится скорее к области философского, так сказать, щегольства, так как практически прежние неумные кольца с успехом выполняли свое назначение.

<sup>23</sup> Мечта некоторых увлекающихся людей о том, что наступит счастливое время, когда органы восприятия у человека станут столь чувствительны, что сделается возможным непосредственное чтение мыслей, – мне кажется абсолютно неосуществимой. Даже рентгеновские лучи, если бы таковые были открыты для души, не могут проникнуть в глубочайшие тайники ее, и всегда останется место, куда может скрыться преследуемая мысль.

признательность, а через месяц на всех дверях, во всех тюрьмах государства темнели маленькие отверстия, открывая поле для широких и плодотворных наблюдений. Я же радовался глубоко с сознанием, что если в целесообразности тюрьмы и существуют некоторые пробелы, то не потому, чтобы в основе ее лежала ложная идея, а лишь потому, что ограничены силы человека; но чего не может сделать один, то делает другой, и так в совместной, дружной работе движется человечество к осуществлению великих заветов разума и строгих предначертаний неумолимой справедливости.

Глубокое удовлетворение дает мне весь распорядок нашей тюремной жизни. Часы вставания и сна, обеда и прогулок расположены столь рационально, в таком соответствии с истинными потребностями природы, что уже вскоре теряют характер некоторой принудительности и становятся естественными, даже дорогими привычками. Только этим могу объяснить тот интересный факт, что, будучи на свободе юношей нервным и слабосильным, склонным к простудам и заболеваниям, в нашей тюрьме я значительно окреп и для своих 60 лет пользуюсь завидным здоровьем. Я не толст, но и не худ, имею сильные легкие и сохранил почти все зубы, за исключением двух коренных с левой стороны челюсти; характер у меня прекрасный, ровный, *сон крепкий* <sup>24</sup>, почти без сновидений. Фигурою своею, в которой преобладающим является выражение спокойной силы и уверенности, а также лицом я напоминаю несколько микельанджеловского Моисея – так говорят, по крайней мере, некоторые из моих любезных посетителей.

Но еще более, нежели правильный и здоровый режим, укреплению души моей и тела содействовала та удивительная и вместе совершенно понятная и естественная особенность нашей тюрьмы, по которой из жизни ее совершенно устранен элемент случайного и неожиданного. Не имея ни семьи, ни друзей, я совершенно избавлен от тех губительных для жизни потрясений, какие приносят с собою измена, болезни, наконец, смерть близких, – пусть вспомнит мой благосклонный читатель, как много людей погибло на его глазах не через себя, а лишь вследствие того, что капризная судьба связала их с людьми недостойными<sup>25</sup>. Не разменивая своего чувства любви на мелкие личные привязанности, я тем самым одновременно освобождаю его для широкой, мощной любви к человечеству, а так как человечество бессмертно, не подвержено болезням и в гармоничном целом своем несомненно движется к совершенству, то и любовь к нему является наиболее верной гарантией душевного и телесного здоровья.<sup>26</sup>

Мой день ясен; и столь же ясны, как он, все грядущие дни, ровной и светлой чередой плывущие ко мне навстречу. Ко мне не ворвется корыстный убийца, меня не раздавит шальной автомобиль, на меня не свалится болезнь ребенка, ко мне не подкрадется из темноты жестокое предательство – моя мысль свободна, мое сердце спокойно, моя душа ясна и светла. Ясные и точные правила нашей тюрьмы определяют все, чего не должен я делать, избавляя меня от тех несносных колебаний, сомнений и ошибок, которыми так чревата практическая жизнь. Правда, и в нашу тюрьму, сквозь ее высокие стены, проникает иногда веяние того, что люди невежественные называют случаем или даже роком и что является

---

<sup>24</sup> Упоминаю об этом интересном обстоятельстве, так как обычно у стариков сон очень легок и не крепок.

<sup>25</sup> Не говоря о непосредственном воздействии одного человека на другого, с которым так или иначе связала его судьба, я сошлюсь на общеизвестное, так называемое "влияние среды". Имея свою "среду" только воздух камеры, в котором я живу, я, конечно, совершенно избавлен от этих, часто пагубных влияний.

<sup>26</sup> Известно, что все люди, обладающие могучею любовью к человечеству, как-то: пророки, великие проповедники, философы, моралисты, ученые и даже художники умирали в очень преклонном возрасте, далеко превышающем средний статистический возраст. И наоборот: все человеконенавистники погибают рано. Исключение можно сделать разве только для одного дьявола, который бессмертен, – да простится мне эта маленькая шутка.

только необходимым отражением общих законов<sup>27</sup>, но потрясенная временно жизнь быстро возвращается в свое обычное русло, как река после разлива. К этой категории случайностей нужно отнести упомянутое выше убийство надзирателя, редкие и *всегда* неудачные попытки к бегству, а также смертные казни, ареною которых является один из отдаленнейших дворов нашей тюрьмы. Но и здесь я должен отдать справедливость той мудрой целесообразности, с какою проводятся казни: совершаясь обычно на рассвете, в пору наиболее крепкого сна, в надлежащем расстоянии от наших камер, они не нарушают покоя лиц сторонних и незаинтересованных. Только однажды, на рассвете, мне послышался чей-то взволнованный крик, но очень возможно, что я ошибся, приняв за призыв о помощи ночной вопль какого-либо животного или перенеся в действительность отрывок собственного сна.<sup>28</sup>

Наконец есть еще одна особенность в строе нашей тюрьмы, которую я считаю наиболее плодотворною, всему целому придающей характер суровой и благородной справедливости. Предоставленный самому себе, и только себе, узник не может рассчитывать ни на поддержку, ни на ту фальшивую, досадную жалость, которая столь часто выпадает на долю людей слабых, сохраняя их для жизни и тем самым искажая основные цели природы. Признаюсь, не без некоторой гордости помышляю я о том, что если сейчас я пользуюсь общим уважением и преклонением, если мозг мой силен, воля крепка, взгляд на жизнь ясен и светел, то этим я обязан только себе, своей силе и настойчивости. Сколько людей слабых погибло бы на моем месте жертвою безумия, отчаяния, тоски — а я победил все! Я перевернул мир; моей душе я придал ту форму, какую пожелала моя мысль; в пустыне, работая один, изнемогая от усталости, я воздвиг стройное здание, в котором живу ныне радостно и спокойно — как царь. Разружьте его — и завтра же я начну новое и, обливаясь кровавым потом, построю его! *Ибо я должен жить.* Да простится мне невольный пафос последних строк, столь неидущих к моему уравновешенному и спокойному характеру. Но трудно не взволноваться, вспоминая пройденный путь; надеюсь, впрочем, что в будущем я не омрачу настроения моего читателя какими-либо вспышками взволнованного чувства. Кричит только тот, кто не уверен в правде своих слов; истине же подобает спокойная твердость и холодная простота.

P. S. Не помню, говорил я или нет, что злодей, умертвивший моего отца, до сих пор еще не найден.

## Часть 5

Время от времени, отступая от спокойной формы исторического повествования, я должен останавливаться на текущем моменте. Так, позволю себе в немногих строках познакомить моего читателя с довольно интересным экземпляром человеческой породы, обретенным мною случайно в недрах нашей тюрьмы. Поводом к знакомству послужило следующее обстоятельство. На днях в послеобеденную пору ко мне изволил пожаловать г. начальник для обычной беседы и, между прочим, сказал, что в тюрьме содержится в настоящее время один очень несчастный человек, на которого я мог бы оказать благотворное влияние. Я любезно выразил мою полную готовность, и вот уже несколько дней подряд, с разрешения г. начальника, я подолгу беседую с художником К. Та первоначальная

---

<sup>27</sup> Не ведая большинства причин тех явлений, что составляют их жизнь, люди в недоумении останавливаются перед следствиями и создают понятие какого-то особенного вульгарного рока, который будто бы тем и занят, чтобы причинять им неприятности или доставлять удовольствие. Отсюда и уверенность, что судьбу можно надуть, как какого-нибудь ротозея, надев на руку цепочку или стараясь ничего не предпринимать в пятницу.

<sup>28</sup> Иногда днем слышится стук топора, сколачивающего эшафот, но так как этот звук ничем не отличается от того, как если бы вместо эшафота плотники строили просто качели для детей г. начальника, то лишь болезненно настроенное воображение способно найти в нем предлог для волнений.

враждебность, даже строптивость, с какой он, к прискорбию моему, встретил меня при первом визите, ныне совершенно исчезла под влиянием моих речей. Охотно и с интересом выслушивая мои всегда умиротворяющие слова, он постепенно, после целого ряда настойчивых вопросов, рассказал мне свою довольно необычную историю.

Это господин лет двадцати шести-восьми, с приятной внешностью и вполне приличными манерами, свидетельствующими о хорошем воспитании<sup>29</sup>. Некоторая, вполне, впрочем, естественная несдержанность в речах, страстная порывистость, с какой он рассказывает о себе, порою горький, даже иронический смех, а вслед затем тяжелая задумчивость, из которой с трудом удастся его извлечь даже прикосновением руки, – дополняют облик моего нового знакомого. Мне лично он не особенно симпатичен, и, как ни странно, особенно неприятно действует на меня его отвратительная привычка постоянно шевелить тонкими худыми пальцами и беспомощно хвататься ими за руку собеседника.

О своей прошлой жизни г. К. рассказал мне очень мало.

– Ну что там! Был художником, вот и все, – повторяет он с досадливой гримасой и совершенно отказывается говорить о том "безнравственном деянии"<sup>30</sup>, за которое присужден к одиночному заключению.

– Я не хочу развращать вас, дедушка, живите себе честно, – шутит он с несколько неприличной фамильярностью, которую я допускаю единственно из желания сделать приятное г. начальнику тюрьмы, выпытав у узника действительную причину его страданий, принимающих иногда тяжелую форму буйства и угроз. И действительно, в одну из тяжелых минут, когда воля к сопротивлению у г. К. ослабела в силу томящей его бессонницы, я присел к нему на кровать, несколько приласкал его и вообще отнесся к нему с такой отеческой мягкостью, что тут же он выболтал все. Не желая утомлять читателя точным воспроизведением его истерических выкриков, хохота и слез, я передам лишь содержание его рассказа. Горе г. К., вначале для меня не совсем понятное, заключается в том, что для рисования ему дают не бумагу и не полотно, а большую грифельную доску и грифель<sup>31</sup>. Таким образом, благодаря свойству материала, прежде чем начать новую картину, г. К. должен уничтожить прежнюю, начисто стерши ее с грифельной доски; и это будто бы каждый раз доводит его почти до иступления.

– Вы не можете себе представить, что это значит, – рассказывал он, хватая мои руки своими тонкими, цепкими пальцами, – пока я рисую, я, знаете, совсем забываю, что это бесцельно, бываю очень весел и даже что-то там такое свищу, и раз даже сидел за это в карцере, так как в вашей проклятой тюрьме и свистеть нельзя. Но это пустяки, я там выспался по крайней мере. А вот когда кончу... нет, даже только когда подхожу к концу, тут наступает, дедушка, такое ужасное, что хочется вырвать из головы свой мозг и топтать его ногами<sup>32</sup>. Вы понимаете меня? – Понимаю, мой друг, вполне понимаю и сочувствую вам.

– Ей-Богу? Ну так слушайте, дедушка. Уже последние штрихи я провожу с такою болью, с такой тоской и безнадежностью, как будто навсегда прощаюсь с самым любимым человеком. Но вот кончил – вы понимаете, что это значит? Это значит, что оно ожило, оно

---

<sup>29</sup> Господин К. принадлежит к хорошей семье, обладающей приличными средствами.

<sup>30</sup> Меня, как психофизиолога, очень интересовали свойства этого загадочного деяния, за которым чувствуется какая-то извращенность.

<sup>31</sup> Между прочим, поразительно искусство, с каким он овладел новым для него материалом: я видел некоторые его произведения, и, как мне кажется, они могут удовлетворить вкусу самого строгого знатока графических искусств; впрочем, я лично к живописи равнодушен, предпочитая ей живую, правдивую природу.

<sup>32</sup> Рискованный образ, свидетельствующий о том, что мозг моего юного друга находится не в полном порядке.



живет, что в нем уже есть своя таинственная жизнь. И в то же время оно обречено уже на смерть, оно уже умерло, оно уже мертво, как селедка, – вы можете что-нибудь в этом понять? Я ничего не понимаю. И вот вы представьте, я все-таки, глупец, радуюсь, плачу и радуюсь. Нет, думаю, этого уж я не уничтожу, оно так хорошо, что я его не уничтожу, пусть живет. И правда, мне в это время ничего нового и писать не хочется, совсем не хочется. А все-таки страшно – вы понимаете меня?

– Вполне, мой друг. Несомненно, на другой день рисунок перестает вам нравиться...

– Фу, дедушка, какую ерунду вы говорите! (Он так именно и выразился: "ерунду"). Как может разонравиться умирающий ребенок? Ну, конечно, если б он пожил, из него вышел бы настоящий подлец<sup>33</sup>, а когда он умирает... Нет, не то, дедушка, не то. Ведь я сам его убиваю. Целую ночь я не сплю, вскакиваю, гляжу на него и так его люблю, что хочется его украсть. У кого украсть? А я почему знаю. А как наступит утро, я уже чувствую, что не могу, что я снова должен взять этот проклятый грифель и снова творить. Какая насмешка, творить! Да что я, каторжник, что ли?

– Мой друг, вы действительно находитесь в каторжной тюрьме.

– Дедушка, дедушка! Когда я начинаю с губкой подкрадываться к доске, так ведь я же на убийцу похож. Случается, день, два хожу я около него... знаете, я раз палец себе на правой руке обкусал, чтоб не писать, ну и, конечно, пустяки, потому что начал учиться левой рукой. Что это за потребность творить? Творить во что бы то ни стало, творить для мученья, творить, зная, что все это погибнет, вы понимаете это?

– Кончайте, мой друг, не волнуйтесь, потом я изложу мой взгляд.

К сожалению, мой совет едва ли даже достиг ушей г. К. В одном из тех пароксизмов отчаяния, которые так напугали г. начальника тюрьмы, он начал биться на постели, рвать на себе одежду, кричать и плакать, вообще проявил все признаки крайнего огорчения. С глубоким волнением смотрел я на муки несчастного молодого человека (по сравнению с собой я мог бы назвать его юношей), тщетно пытаюсь удержать его пальцы, разрывающие одежду, – я знал, что за это нарушение дисциплины его ждет новый карцер. "О, пылкая юность, – подумал я, когда он несколько успокоился, и ласково разбирал рукою его тонкие, спутавшиеся волосы, – как легко ты впадаешь в отчаяние! Какой-то рисунок, который в конце концов, быть может, пропал бы у грязного старьевщика, торговца старой бронзой и склеенным фарфором, может причинить тебе столько страданий!" Но, конечно, я не сказал этого моему юному другу, стараясь, как и нужно в таких случаях, не раздражать его излишними противоречиями.<sup>34</sup>

– Спасибо вам, дедушка, – сказал г. К., видимо успокоившись. – Говоря по правде, вы показались мне сначала очень странным: лицо у вас такое почтенное, а в глазах... Вы никого не убивали, дедушка?

Умышленно привожу эту злую и неосторожную фразу, чтобы показать, как в глазах людей легкомысленных и неглубоких печать тяжкого обвинения превращается в печать самого злодейства. Сдержав чувство горечи, я спокойно заметил дерзкому юноше:

– Вы художник, дитя мое, вам ведомы тайны человеческого лица, этой гибкой, подвижной и изменчивой маски, принимающей, подобно морю, отражение бегущих облаков и голубого эфира. Будучи зеленой, морская влага голубеет под ясным небом и становится черной, когда черно небо и мрачны тяжелые тучи. Чего же вы хотите от моего лица, над которым тридцать лет тяготеет обвинение в жесточайшем злодействе?

Но, занятый своими мыслями, художник не обратил, по-видимому, особенного

---

<sup>33</sup> Почему из ребенка, если он останется жив, должен непременно выйти подлец? Удивительное легкомыслие.

<sup>34</sup> Человек так любит, чтобы с ним соглашались, что согласием в пустяках можно задешево купить его для весьма крупных и совсем для него неожиданных решений.

внимания на мои слова и продолжал упавшим голосом:

– Что же мне делать? Вы видели тот мой рисунок – я его уничтожил и вот уже целую неделю не берусь за грифель. Конечно, – продолжал он раздумчиво, потирая лоб, – лучше бы совсем разбить доску, тогда в наказание мне не дали бы новую... – Вы лучше просто возвратите ее начальству.

– Ну хорошо, подержусь я еще неделю, а потом? Ведь я же знаю себя. Ведь уже сейчас этот дьявол подталкивает мою руку: возьми грифель, возьми грифель.

Как раз в это время, блуждая рассеянным взглядом по камере, я вдруг заметил, что часть платья художника, висевшего на стене, неестественно раздвинута и один конец искусно прихвачен спинкою кровати. Сделав вид, что я устал и просто хочу пройти по камере, я пошатнулся как бы от старческой дрожи в ногах и отдернул одежду: *вся стена за ней была испещрена рисунками.*

Художник уже вскочил с постели, и так мы молча стояли друг против друга. С мягкой укоризной я сказал:

– Как вы могли себе позволить это, мой друг! Ведь вы же знаете правила<sup>35</sup> тюрьмы, по которым никакие надписи и рисунки на стенах не допускаются!

– Не знаю я никаких правил! – угрюмо сказал г. К.

– И потом, – уже строго продолжал я, – вы солгали мне, мой друг. Вы сказали, что уже целую неделю вы не брали грифеля в руки...

– Конечно, не брал, – с странной насмешкой и даже вызовом сказал художник.

Вообще, даже будучи уличен, он совершенно не обнаруживал признаков раскаяния и смотрел скорее насмешливо, чем виновато. Вглядевшись пристальнее в рисунки на стене, изображавшие каких-то человечков в разнообразных позах, я заинтересовался странным буровато-желтым цветом неведомого карандаша.

– Это йод? Вы сказали, что у вас что-нибудь болит, и достали йоду?

– Нет, кровь.

– Кровь? – Да.

Скажу откровенно, в эту минуту он мне даже понравился.

– Как вы добыли ее?

– Из руки.

– Из руки? Но как же вы сумели укрыться от наблюдающего за вами в глазок? Он хитро улыбнулся и даже подмигнул:

– А вы разве не знаете, что всегда можно обмануть, если захочешь?

Мои симпатии сразу рассеялись: я видел перед собою не особенно умного и, вероятно, уже сильно испорченного человека, даже не допускающего мысли, что существуют люди, которые не в состоянии и просто не умеют лгать. Помня, однако, данное мною г. начальнику обещание, я принял вид спокойного достоинства и ласково, как только мать могла бы говорить своему ребенку, сказал ему:

– Не удивляйтесь и не осуждайте моей строгости, мой друг. Я старик, полжизни проведенный в этой тюрьме, у меня уже сложились известные привычки, как у всех стариков, и, сам подчиняясь правилам, я, быть может, несколько преувеличенно требую того же от других. Конечно, вы сами сотрете эти рисунки, – как мне их ни жаль, ибо они искренно восхищают меня, – и я ничего не скажу администрации. И мы все это забудем, как будто не было ничего. Хорошо?

Он вяло ответил:

– Хорошо.

– По существу же вопроса я скажу вам следующее. В нашей тюрьме, где в настоящую минуту мы имеем печальное удовольствие находиться, все построено по крайне целесообразному плану и строжайше подчинено законам и правилам. И то весьма строгое,

---

<sup>35</sup> Примечание третье к § 25 "Правил для заключенных".

сознаюсь, распоряжение, в силу которого так кратковременно и, скажу, эфемерно существование ваших творений, преисполнено глубочайшей мудрости. Предоставляя вам совершенствоваться в вашем искусстве, оно в то же время благоразумно ограждает других людей от вредного, быть может, влияния ваших произведений и, во всяком случае, логически заканчивает, довершает, укрепляет и выясняет значение вашего одиночного заключения. Что значит одиночное заключение в нашей тюрьме? Это значит, что человек один. А будет ли он один, если произведениями своими, так или иначе, будет делиться со сторонними лицами?

По выражению лица г. К. я заметил с чувством глубокой радости, что слова мои произвели на него надлежащее впечатление, из области поэтических вымыслов возвратив его в страну суровой, но прекрасной действительности. И, возвысив голос, я продолжал:

– Что же касается нарушенного вами правила, по которому нельзя делать ни надписей, ни рисунков на стенах нашей тюрьмы, то и оно не менее логично. Пройдут годы, на вашем месте окажется, быть может, такой же узник, как и вы, и увидит начертанное вами, – разве это допустимо! Подумайте! И во что бы, наконец, превратились стены нашей тюрьмы, если бы каждый желающий оставлял на них свои кощунственные следы!<sup>36</sup>

– К черту!

Так, именно так выразился г. К. И сказал он это громко и даже как будто спокойно.

– Что ты хочешь этим сказать, мой юный друг?

– Хочу сказать, что ты можешь издохнуть здесь, мой старый друг<sup>37</sup>, а я отсюда уйду.

– Из нашей тюрьмы бежать нельзя, – сурово возразил я.

– А вы пробовали?

– Да. Пробовал.

Он с недоверием посмотрел на меня и усмехнулся. Он усмехнулся!

– Вы трус, дедушка. Вы просто жалкий трус.

Я – трус! О, если бы этот самодовольный щенок знал, какую бурю гнева поднял он в моей душе, – он завизжал бы от страха и спрятался под кровать. Я – трус! Мир обрушился мне на голову и не раздавил меня, и из его страшных обломков я создал новый мир – по моему чертежу и плану; все злые силы жизни: одиночество, тюрьма, измена и ложь, все ополчились на меня – и все их я подчинил своей воле. И я, подчинивший себе даже сны, я – трус!... Впрочем, не буду утомлять внимание моего любезного читателя этими лирическими отступлениями, не идущими к делу. Продолжаю.

После некоторого молчания, нарушаемого лишь громким дыханием г. К., я грустно сказал ему:

– Я – трус! И это вы говорите человеку, который пришел с единственной целью – помочь вам! Помочь не только словом, к которому вы, к сожалению, безучастны, но и делом.

– Помочь? Каким же это образом?

– Я достану вам бумагу и карандаш.

Художник молчал. И голос его был тих и робок, когда он спросил, запинаясь: – И... рисунки мои... останутся?

– Да, останутся.

Трудно передать тот буйный восторг, которому отдался экзальтированный юноша: ни в горе, ни в радости не знает границ наивная и чистосердечная юность. Он горячо жал мне руки, тормозил меня, беспокоя мои старые кости, называл меня другом, отцом, даже "милой старой мордашкой" (!) и тысячью других ласковых и несколько наивных слов. К сожалению,

---

<sup>36</sup> Конечно, стены можно перекрашивать, что и делается почти всякий раз, как на место одного умершего или выбывшего узника является другой; но это сопряжено с расходами и не всегда достигает цели: сковырнув верхний слой краски, узник может найти следы надписи или рисунка.

<sup>37</sup> Буквально так.

беседа наша затянулась, и, несмотря на уговоры юноши, не желавшего расстаться со мной, я поторопился к себе.

К г. начальнику тюрьмы я не пошел, так как чувствовал себя несколько взволнованным. До глубокой ночи, как в ту далекую пору, я шагал по камере, стараясь понять, какой способ бежать из нашей тюрьмы, неизвестный мне, открыл этот далеко не умный юноша. Неужели из нашей тюрьмы можно бежать? Нет, я допустить этого не могу, я не должен этого допускать. И, постепенно восстанавливая в памяти все, что я знал о нашей тюрьме, я понял, что г. К. напал на какой-нибудь старый, давно мною отброшенный способ, в неосуществимости которого убедится так же, как и я. Из нашей тюрьмы бежать невозможно.

Но еще долго, терзаемый сомнениями, измерял я шагами мою одинокую камеру, придумывая различные планы, как облегчить положение г. К. и тем на всякий случай отвлечь его от мысли о бегстве: ни в каком случае он не должен бежать из нашей тюрьмы. Затем я предался спокойному и глубокому сну, каким благодетельная природа наградила людей с чистой совестью и ясною душою.

Между прочим, чтобы не забыть, упомяну, что в эту ночь я уничтожил мой "Дневник заключенного". Уже давно я собирался сделать это, но та естественная жалость и малодушная любовь, которую мы питаем даже к нашим ошибкам и недостаткам, удерживала меня; к тому же в "Дневнике" не было ничего предосудительного, что могло бы так или иначе компрометировать меня. И если теперь я уничтожил его, то единственно из желания предать полному забвению мое прошлое и избавить возможного читателя от скуки длинных жалоб и стенаний, от ужаса кощунственных проклятий. Да почиет в мире.

## Часть 6

Передав г. начальнику тюрьмы содержание моей беседы с г. К., я попросил не подвергать его взысканию за испорченные стены, чтобы этим не выдать меня, и предложил следующий план спасения бедного юноши, принятый г. начальником после некоторых, чисто, впрочем, формальных возражений.

— Ему важно, — сказал я, — чтобы рисунки его сохранялись, — а в чьих руках они находятся, это, по-видимому, для него безразлично. Пусть же он, пользуясь своим искусством, сделает ваш портрет, г. начальник, а затем всего низшего персонала! Не говоря о чести, которую вы окажете ему этим снисхождением, чести, которую он, наверное, сумеет оценить, рисунок может оказаться не бесполезным и для вас, как весьма оригинальное украшение вашей гостиной или кабинета<sup>38</sup>. Наконец, ничто не мешает нам уничтожить рисунки, если мы этого захотим, так как наивный и несколько самовлюбленный юноша даже не допускает, вероятно, мысли, чтобы чья-нибудь рука поднялась на его произведения.

Улыбнувшись, г. начальник, с крайней, весьма польстившей меня вежливостью предложил, чтобы серия портретов была начата с меня. Привожу дословно то, что сказал мне г. начальник:

— Ваше лицо так и просится на полотно. Мы повесим ваш портрет в канцелярии.

Не иначе, как яростью творчества, могу я назвать ту страстную, молчаливую возбужденность, с какой г. К. воспроизводил мои черты. Обычно болтливый, здесь он молчал целыми часами, оставляя без ответа мои шутки и указания.

— Молчите! молчите! — почти кричал он на меня, не обращая внимания на мои слова, что, когда я молчу, мое лицо принимает выражение не свойственной мне мрачности, и только добродушный, благосклонный смех мог бы передать истинный его характер.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Г. начальник — большой ценитель искусства, особенно живописи и скульптуры.

<sup>39</sup> Вообще я с детства отличаюсь довольно веселым нравом; нередкие шутки, к которым я позволяю себе прибегать, вероятно, не остались незамеченными моим благосклонным читателем.

– Молчите, дедушка, молчите, – вы лучше всего, когда молчите, – настойчиво повторял он, вызывая невольную улыбку перед своим увлечением профессионала. Мой портрет, приложенный к настоящей книге, напомнит вам, благосклонный читатель, о том загадочном свойстве художников, по которому очень часто собственные чувства, даже внешние черты они переносят на объект своего творчества<sup>40</sup>. Так, с поразительным сходством передав нижнюю часть моего лица, где столь гармонически сочетаются добродушие с выражением авторитетности и спокойного достоинства, г. К., несомненно, перенес в мои глаза свою собственную муку и даже ужас. Их остановившийся, застывший взгляд, мерцающее где-то в глубине безумие, мучительное красноречие души бездонной и беспредельно одинокой, – все это не мое.

– Да разве это я? – воскликнул я со смехом, когда с полотна на меня взглянуло это страшное, полное диких противоречий лицо. – Мой друг, с этим рисунком я вас не поздравляю. Мне он не кажется удачным.

– Вы, дедушка, вы! И нарисовано хорошо, вы это напрасно. Вы куда его повесите?

Он снова стал болтлив, как сорока, этот милый юноша, и все лишь потому, что его жалкая мазня сохранится на некоторое время. О пылкая, о счастливая юность! Здесь я не мог воздержаться от маленькой шутки, имевший целью несколько проучить самоуверенного юнца, и с улыбкой спросил:

– Ну, как же по-вашему, господин художник, убийца я или нет?

Художник, прищурив один глаз, другим критически оглядел меня и портрет. И, насмывая какую-то польку, небрежно ответил:

– А черт вас знает, дедушка!

Я улыбался. Г. К. понял наконец мою шутку, засмеялся и затем с внезапной серьезностью сказал:

– Вот вы говорите: человеческое лицо, а знаете вы, что нет на свете ничего хуже человеческого лица? Даже говоря правду, даже крича о правде, оно лжет, лжет, дедушка, потому что говорит на своем языке<sup>41</sup>. Знаете, дедушка, со мной был ужасный случай, это было в одной картинной галерее в Испании, я рассматривал Христа, и вдруг... Христос, ну вы понимаете, Христос: огромные глаза, черные, страшная мука, печаль, тоска, любовь – ну, одним словом, Христос. И вдруг меня ударило: вдруг мне показалось, что это – величайший преступник, томимый величайшими, неслыханными муками раскаяния... Дедушка, что вы так смотрите на меня? Дедушка!

Приблизив свои глаза к самому лицу художника, я осторожным шепотом, как того требовали обстоятельства, спросил его медленно, разделяя каждое слово:

– Не думаете ли вы, что когда дьявол искушал Его в пустыне, то Он не отрекся от него, как потом рассказывал, а согласился, продал себя – не отрекся, а продал, понимаете? Не кажется ли вам это место в Евангелии сомнительным?

На лице моего юного друга выразился чрезвычайный испуг; обеими ладонями упершись в мою грудь, как бы отталкивая меня, он произнес таким тихим голосом, что я едва мог разобрать его невнятные слова:

– Что такое? Что вы говорите? Иисус – продался... Зачем?

Я тихо пояснил:

---

<sup>40</sup> Небезызвестен тот курьезный факт, что художники, которые либо сами курносы, либо имеют курносых жен, – переносят эту черту на свои картины; только этим можно объяснить характер лица у некоторых Мадонн.

<sup>41</sup> К сожалению, г. К. здесь, несомненно, прав. Как правда, так и ложь для выражения своего пользуются одними и теми же человеческими словами, одними и теми же проявлениями чувств, одною и тою же игрой физиономии. Всякий, кому приходилось в жизни встречать искусного лжеца, знает на себе могущественное действие его слез, заклятий и уверений; искренность слез при этом может быть настолько велика, что сам лжец обманывается ею – к искреннему удовольствию холодного мыслителя, сознающего весь трагикомизм положения.



– А чтобы люди, дитя мое, чтобы люди поверили в Него!

– Ну?!

Я улыбался. Глаза г. К. стали круглые, как будто его душила петля; и вдруг, с тем неуважением к старости, которое отличало его, он резким толчком свалил меня на кровать и сам отскочил в угол. Когда же я с медленностью, естественной для моего возраста, стал выбираться из неудобного положения, в какое поставила меня несдержанность этого юнца<sup>42</sup>, он громко закричал на меня:

– Не смей! Не смей вставать! Дьявол!

Но я и не думал вставать; я только сел на кровати и, уже сидя, с невольной усмешкой над горячностью юноши, добродушно покачал головою и засмеялся:

– Ах, юноша, юноша! Ведь вы же сами вовлекли меня в этот богословский разговор.

Но он упрямо тарашил на меня свои глаза и твердил:

– Сидите, сидите! Я *этого не* говорил. Нет, нет!

– Нет, это вы сказали, вы, мой юный друг, вы. Помните, Испания, картинная галерея... Ах, маленький шутник! Сказал и отказывается, насмехаясь над неуклюжей старостью. Ай-ай-ай!

Г. К. опять опустил руки и тихо *сознался*:

– Да, это я сказал. Но вы, дедушка...

Не помню, впрочем, что он говорил потом: так трудно запомнить всю ребяческую болтовню этого доброго, но, к сожалению, слишком легкомысленного молодого человека. Помню только, что мы расстались друзьями, и он горячо жал мне руки, выражая свою искреннюю признательность, даже называл меня, насколько помнится, своим "спасителем".

Между прочим, мне удалось убедить г. начальника, что портрет даже такого человека, как я, но все же узника, не подобает месту столь торжественно официальному, как канцелярия нашей тюрьмы. И сейчас портрет находится на стене моей камеры<sup>43</sup>, приятно разнообразя несколько холодную монотонность ее безупречно белых стен.

Оставив на время нашего художника, ныне увлекающегося портретом г. начальника тюрьмы, я перейду к дальнейшему повествованию.

## Часть 7

Моя душевная ясность, как я уже имел удовольствие сообщить читателю, создала изрядный круг моих почитателей и почитательниц. Не без понятного волнения расскажу о тех приятных часах задушевного разговора, которые назову я скромно "Мои беседы".

Затрудняюсь объяснить, чем заслужил я это, но большинство приходящих относятся ко мне с чувством глубочайшего почтения, даже преклонения, и только немногие являются с целью спора, всегда, впрочем, имеющего умеренный и приличный характер. Обычно я усаживаюсь посредине комнаты, в мягком и глубоком кресле, предоставленном мне на этот случай г. начальником, слушатели же тесно окружают меня, и некоторые наиболее экзальтированные юноши и девицы усаживаются у моих ног.

Имея перед собою аудиторию, более чем наполовину состоящую из женщин и вполне единодушно настроенную в мою пользу, я обычно обращаюсь не столько к уму, сколько к чуткому и правдивому сердцу. К счастью, я обладаю некоторым ораторским даром, а те довольно обычные в ораторском искусстве эффекты, к которым прибегают и прибегали все проповедники, начиная, вероятно, с Магомета<sup>44</sup>, и которым я умею пользоваться недурно, –

---

<sup>42</sup> Я упал навзничь, головою между подушкой и спинкою кровати.

<sup>43</sup> Конечно, с разрешения г. начальника.

<sup>44</sup> Достаточно взглянуть на любую картину, изображающую знаменитого проповедника в момент его

позволяют мне влиять на слушателей моих в желаемом направлении. Вполне понятно, что перед милыми слушательницами моими я не столько мудрец, открывший тайну железной решетки, сколько великий страдалец за не совсем им понятное, но правое дело; чуждаясь рассуждений отвлеченных, они с жадностью ловят каждое слово сочувствия и ласки и отвечают тем же. Предоставляя им любить меня и верить в мое непреложное познание жизни, я даю им счастливую возможность хотя бы на время уйти от холода жизни, ее мучительных сомнений и вопросов.

Скажу откровенно, без ложной скромности, которую я ненавижу, как лицемерие: бывали лекции, когда сам я, находясь в состоянии пафоса, вызывал в моей аудитории чрезвычайно повышенное настроение, у некоторых, наиболее нервных посетительниц моих переходившее в истерический смех и слезы. Конечно, я не пророк, я просто скромный мыслитель, но едва ли кому-нибудь удастся убедить некоторых моих почитательниц, что в речах моих нет пророческого смысла и значения.

Помню одну такую лекцию, имевшую место два месяца тому назад. В эту ночь мне, против обыкновения, как-то не спалось; может быть, просто потому, что была полная луна, влияющая, как известно, на сон и делающая его прерывистым и тревожным. Смутно помню то странное ощущение, какое испытал я, когда бледный диск луны показался за моим окном и железные квадраты черными зловещими линиями разрезали его на маленькие серебряные участки. "Значит, и луна так же", – думал я сквозь сон, прозревая какую-то новую огромную и важную истину, к сожалению, тотчас же забытую при полном пробуждении.<sup>45</sup>

И, отправляясь на лекцию, я чувствовал себя утомленным и склонным скорее к молчанию, нежели к беседе: ночное видение беспокоило меня. Но когда я увидел эти милые лица, эти глаза, полные веры и горячей мольбы о дружеском совете, когда я узрел перед собою эту богатую ниву, уже вспаханную и ждущую только благого сева, – мое сердце загорелось восторгом, жалостью и любовью. Минуя обычные формальности, какими сопровождается встреча людей, отклонив от себя приветственно протянутые руки, я с благословляющим жестом, которому умею придать особое величие, обратился к зрителям, взволнованным уже одним видом моим.

– Придите ко мне, – воскликнул я, – придите ко мне вы все, ушедшие от той жизни: здесь, в тихой обители, под святым покровом железной решетки, у моего любвеобильного сердца, вы найдете покой и отраду. Возлюбленные мои чада, отдайте мне вашу печальную, исстрадавшуюся душу, и я одену ее светом, я перенесу ее в те благодатные страны, где никогда не заходит солнце извечной правды и любви!

Уже многие начали плакать; но еще не настало время для слез, и, прервав их жестом отеческого нетерпения, я продолжал:

– Ты, милая девушка, пришедшая из того мира, что называет себя свободным, – что за грустные тени лежат на твоём милом, прекрасном лице? А ты, мой смелый юноша, почему так бледен ты? Почему не упоение победою, а страх поражения вижу я в твоих опущенных глазах? И ты, честная мать, скажи мне: какой ветер сделал твои глаза красными? Какой дождь, неистово бушующий, сделал влажным твоё старческое лицо? Какой снег так выбелил твои волосы, – ведь они были темными когда-то!

Но поднявшийся плач и вопли почти заглушили окончание моей речи, да и сам я,

---

деятельности: как в позе, так и в выражении лица, то гневно-решительного, то благодатного, полного любви и ласки, вы найдете все признаки, по которым ораторское искусство отличается от пустой и бесцветной болтовни.

<sup>45</sup> Как человек смелый, болтливый и решительный, попадая в собрание людей тихих, заглушает их невнятные голоса, – так разум, когда человек бодрствует, забивает все иные голоса, глухо доносящиеся из потаенных глубин человеческого организма. И только во сне, когда утомленный разум, потерявший нить логического мышления, бессильно скачет через нелепые провалы, – они начинают звучать громко и властно, часто оказываясь несколько не глупее, чем сам господин великий разум.

сознаюсь в этом без стыда, смахнул с глаз не одну предательскую слезу. Не дав окончательно утихнуть волнению, я возгласил голосом суровой и правдивой укоризны:

– Не оттого ли вы плачете, что темна ваша душа, поражена несчастьями, ослеплена хаосом, обескрылена сомнениями, – отдайте же ее мне, и я направлю ее к свету, порядку и разуму. Я знаю истину! Я постиг мир! Я открыл великое начало целесообразности! Я разгадал священную формулу железной решетки! Я требую от вас: поклянитесь мне на холодном железе ее квадратов, что отныне без стыда и страха вы исповедуете мне все дела ваши, все ошибки и сомнения, все тайные помыслы души и мечты вожделеющего тела!<sup>46</sup> – Клянемся! Клянемся! Клянемся! Спаси нас! Открой нам правду! Возьми на себя наши грехи! Спаси нас! Спаси нас! – раздались многочисленные восклицания.

Должен упомянуть о печальном инциденте, разыгравшемся как раз на этой лекции. В тот именно момент, когда возбуждение достигло наивысшего предела и уже открылись сердца, чтобы глаголать, некий юноша, вида хмурого и озлобленного, громко воскликнул, обращаясь, по-видимому, ко мне:

– Лжец! Не слушайте его, он лжет! Благосклонный читатель легко поверит, что лишь с большим трудом удалось мне спасти неосторожного от ярости собравшихся: оскорбленные в том самом ценном, что есть у человека, в его вере в добро и божественный смысл жизни, слушательницы мои толпою накинудись на безумца и, еще одна минута, подвергли бы его жестокому избиению. Памятуя, однако, что больше радости у пастыря об одном грешнике раскаявшемся, нежели о десяти праведниках, я отвел юношу в сторону, где бы никто не мог нас услышать, и вступил с ним в непродолжительную, впрочем, беседу.

– Это меня, дитя мое, вы назвали лжецом? Тронутый моей снисходительностью, бедный юноша сконфузился и, запинаясь, ответил:

– Извините меня за резкость, но мне кажется, что вы говорите неправду.

– Я понимаю вас, мой друг: вас смутил, вероятно, тот несколько преувеличенный экстаз, в котором находятся женщины, и вы, как человек умный, не склонный к мистическому, заподозрили меня в обмане, в гнусном обмане. Нет, нет, не извиняйтесь, я понимаю вас. Поймите же и вы меня: именно из трясины суеверий, из глубокого омута предрассудков и необоснованных верований хочу я извлечь их заблудившуюся мысль и поставить ее на твердые основы строго логического мышления. Железная решетка, о которой я упомянул, отнюдь не есть какой-либо мистический знак, а лишь формула, простая, трезвая, честная, математическая формула. Вам, как человеку умному, я с готовностью изложу, объясню эту формулу: решетка – это та схема, в которой расположены управляющие миром законы, упраздняющие хаос и на место его восстанавливающие забытый людьми строгий, железный, ненарушимый порядок. Как человек со светлой головою, вы легко поймете...

– Простите, я действительно не понял вас, и, если позволите, я... Но зачем же вы заставили их клясться?

– Мой друг, душа человеческая, мнящая себя свободной и постоянно томящаяся этой лживой свободой, неизбежно требует для себя уз, каковыми являются для одних клятва, для других присяга, для третьих просто честное слово. Ведь вы же даете честное слово?<sup>47</sup>

– Даю.

– И этим вы только стремитесь ввести себя в мировую гармонию, где все строжайше подчинено закону. Разве падение камня не есть выполнение клятвы, той клятвы, что называется законом тяготения?

Не буду передавать подробно этой и последующих наших бесед, приведших к тому, что строптивый и несдержанный юноша, оскорбивший меня наименованием лжеца, стал

---

<sup>46</sup> Пусть не смущается мой читатель несколько повышенным тоном моей речи: когда желаешь привлечь людей на свою сторону, необходимо внушить им, что ты знаешь и понимаешь больше, чем они.

<sup>47</sup> На этом основано большинство обрядов, напр., брак.

одним из самых горячих моих приверженцев и не только принес требуемую клятву, но выполнил и многое, к чему обязывало его нахождение в среде моих учеников.

Возвращусь к остальным. За то время, как я беседовал с юношей, жажда покаяния достигла у моих очаровательных прозелиток крайнего предела: не имея силы дожидаться меня, они в страстном испуге исповедовались друг другу, придавая комнате вид сада, где одновременно щебечут десятки райских птиц. Когда же я освободился, они одна за другою в глубокой, интимной, сокрытой от постороннего слуха беседе открыли мне всю свою взволнованную душу.

Тайна исповеди священна, и, конечно, я не позволю себе ни здесь, ни в другом месте разглашать того, что в слезах, иногда с краской нестерпимого стыда, доверили мне мои милые "исповедницы". Связанные клятвой, имеющие слушателем бесстрастного старца, которому чуждо все житейское, мелочное, грязное, они трепетно вливали в мое ухо горячую исповедь, подолгу останавливаясь на тех, по виду незначительных, но по существу важных подробностях, которые составляют тело события<sup>48</sup>. Если порою их и смущали мои прямые, настойчивые вопросы, то это продолжалось лишь мгновение; и в полной обнаженности вставала предо мною таинственная душа человека. Я видел, как изо дня в день, из часа в час боролись в ней изначальный и страшный хаос с жадным стремлением к гармонии и порядку; как в кровавой борьбе извечной лжи с бессмертной правдой непостижимыми путями ложь переходила в правду и правда становилась ложью. Все силы, какие есть в мире, нашел я в душе человека, и не дремала ни одна из них, и в буйном водовороте своем каждая душа становилась подобной водяному смерчу, основанием которому служит морская пучина, а вершиною – небо. И каждый человек, как я это познал и увидел, был подобен тому богатому и знатному господину, который устроил пышный маскарад в замке своем и осветил замок огнями; и съехались отовсюду странные маски, и, любезно кланяясь, приветствовал их господин, тщетно вопрошая, кто это; и приходили новые, все более странные, все более ужасные, и все любезнее кланялся господин, шатаясь от усталости и страха.

А они смеялись и нашептывали странные речи об извечном хаосе, откуда пришли они, покорные, на зов господина<sup>49</sup>. И огни горели в замке – и горели в замке огни – и далеко светились окна, навевая мысль о празднике, и все любезнее, все ниже, все веселее кланялся обезумевший господин. Мой благосклонный читатель легко поймет, что к чувству некоторого страха, который я испытал, вскоре присоединился глубочайший восторг и даже умиление: ибо уже вскоре увидел я, что побежден извечный хаос и поднимается к небу торжествующая песня светлой гармонии. Не упоминая, конечно, имен, даже избегая всякого намека, могущего установить *личность*, я скажу, что среди предавшихся мне был убийца;<sup>50</sup> но и в душе убийцы открыл я неиссякаемый родник чистой правды и бесконечного стремления к добру.

Не обошлось, к сожалению, дело без недоразумений, столь обычных в нашей жизни.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Если моему благосклонному читателю когда-либо изменила жена, то ему, вероятно, было интересно знать не только то, что данный факт совершился, но и то, как и при каких обстоятельствах (вечер, утро, помещение и пр.) произошло событие. Иначе ему трудно будет судить о степени виновности горячо, быть может, любимой супруги.

<sup>49</sup> Хотя я глубоко убежден, что мой вдумчивый читатель вполне понимает меня, все же, во избежание недоразумений, считаю необходимым ему разъяснить приведенную аллегорию: замок – это душа; господин – это человек, властитель своей души; странные маски – это те силы, которые действуют в душе человека и в таинственное существо которых он не может проникнуть никогда.

<sup>50</sup> Упомяну только, что это была женщина.

<sup>51</sup> Так, одна юная девица, имевшая для девицы достаточно темное прошлое, превратно поняла цель моих вопросов, правда, касавшихся довольно интимных вещей, и создала на этой почве целую историю, могшую иметь неприятные последствия. Считаю нужным упомянуть об этом ничтожном факте лишь для того, чтобы

Несмотря на это, мои собеседования пользуются неизменным и прочным успехом, и число посвященных растет, хотя условия моей жизни ставят этому весьма серьезные преграды. Не без чувства гордости упомяну о тех скромных приношениях, которыми мои любезные посетительницы стараются выразить свои чувства любви и поклонения. Не боясь вызвать улыбку на устах читателя, так как и сам я чувствую *комичность* дальнейшего, – сообщу, что в числе приношений, особенно в первое время, было очень много фруктов, пирожков и различных изысканных лакомств. *Боюсь, однако, что никто не поверит, что я действительно отказался от таких приношений*, предпочитая во всей строгости соблюдение тюремного режима тем излишества, на которые в избытке любви и заботливости обрекали меня дамы. Между прочим, на прошлой моей лекции одна милая и почтенная дама привезла мне целую корзину живых цветов. К сожалению, я принужден был в выражениях весьма любезных отказаться и от этого подарка.

– Простите, сударыня, но цветы не входят в систему нашей тюрьмы. Я очень ценю ваше великодушное внимание, – целую ваши ручки, сударыня! – но от цветов я принужден отказаться. Идя тернистым путем подвига и самоотречения, я не должен ласкать свой взгляд эфемерной и призрачной красотой этих очаровательных лилий и роз. В нашей тюрьме все цветы гибнут, сударыня.

Вчера же другая дама доставила мне очень ценное распятие из слоновой кости, фамильную, как она сказала, драгоценность. Не страдая грехом лицемерия, я откровенно сказал щедрой дарительнице, что моя мысль, воспитанная в законах строго научного мышления, не может не признать ни чудес, ни божественности Того, Кто справедливо именуется Спасителем мира. "Но в то же время, – сказал я, – с глубочайшим уважением я отношусь к Его личности и безгранично чту Его заслуги перед человечеством".

– Если я вам скажу, сударыня, что святое Евангелие составляет уже давно мою настольную книгу, что нет дня в моей жизни, когда я не развернул бы этой великой книги, черпая в ней силу и мужество для прохождения моего нелегкого пути, – вы поймете, что ваш щедрый дар не мог попасть в более подходящие руки<sup>52</sup>. Отныне, благодаря вам, печальное иногда уединение моей камеры исчезает: я не один. Благословляю тебя, дочь мол.

Здесь не могу умолчать о тех странных размышлениях, к которым привело меня распятие, будучи повешено рядом с моим портретом. Это было в сумерки; за стеною на невидимой церкви тягуче звонил колокол, сзывая верующих; вдалеке, по пустынному, поросшему бурьяном полю черной точкой двигался неведомый путник, уходящий в неведомую даль; и тихо было в нашей тюрьме, как в гробнице. Я долго с вниманием всматривался в черты Иисуса, столь покойные, столь радостные в сравнении с тем, что рядом с ним молчаливо и глухо смотрело со стены. И с привычкой вслух обращаться к неодушевленным предметам, создавшей долгими годами уединения, я шутливо сказал неподвижному распятию:

– Здравствуй, Иисус! Рад приветствовать Тебя в нашей тюрьме. Здесь нас трое: Ты, я и тот, что смотрит со стены, и, надеюсь, мы трое уживемся в мире и добром согласии. Тот молчит и смотрит. Ты молчишь, и глаза Твои закрыты – я буду говорить за троих: верный знак того, что согласие наше никогда не нарушится.

Те оба молчали, и, продолжая шутку, я обратил мою речь к портрету. Укоризненно

---

еще раз в этих строках выразить горячую признательность г. начальнику нашей тюрьмы, с присущей ему прозорливостью сумевшему разобрать, где правда и где ложь, и поставить легкомысленную и вздорную девицу на надлежащее место. Впрочем, на некоторое, весьма непродолжительное время собеседования наши пришлось прекратить: возмущенный несправедливостью, я почувствовал себя таким расстроенным, что, несмотря на уговоры г. начальника, утверждавшего, что если общество мне необходимо, то я еще более необходим для общества, – я предпочел уединиться.

---

<sup>52</sup> Настоятельно рекомендую моему читателю эту великую книгу; только советую читать ее с глубочайшим вниманием, вникая в смысл каждого слова, каждой, как будто случайной, недомолвки.



покачивая головой, я сказал:

– Куда ты смотришь так пристально и странно, мой неизвестный друг и сожитель? В глазах твоих тайна и укор – ужели ты дерзаешь укорить Того? Отвечай!

И, делая вид, что портрет отвечает, я продолжал измененным голосом, с выражением крайней суровости и безграничной скорби:

– Да, я укоряю Его. Иисус, Иисус! Зачем так чист, так благостен Твой лик? Только по краю человеческих страданий, как по берегу пучины, прошел Ты, и только пена кровавых и грязных волн коснулась Тебя, – мне ли, человеку, велишь Ты погрузиться в черную глубину? Велика Твоя Голгофа, Иисус, но слишком почтенна и радостна она, и нет в ней одного маленького, но очень интересного штришка: ужаса бессцельности!

Здесь, с выражением гнева, я перебил речь портрета.

– Как смеют, – воскликнул я, – как смеют в нашей тюрьме говорить о бессцельности? Те оба молчали, и вдруг Иисус, не открывая глаз и даже как будто еще крепче сомкнув их, ответил тихо:

– Кто знает тайны Иисусова сердца?

Я расхохотался, и мой уважаемый читатель легко поймет этот смех: оказалось, что я, холодный и трезвый математик, обладаю чуть ли не поэтическим талантом и могу сочинять очень интересные комедии. Мною же придуманный, но все же неожиданный для меня ответ Иисуса показался мне столь восхитительным, что три или четыре раза я с упоением повторил его.

– Кто знает тайны Иисусова сердца?

Не знаю, чем бы окончилась эта сочинительская игра, ибо я уже готовил громовый ответ со стороны моего почтенного сожителя, когда появление тюремщика, принесшего пищу, внезапно прекратило ее. Но, видимо, лицо мое еще хранило следы возбуждения, ибо почтенный человек с суровым сочувствием спросил:

– Молились?

Не помню, впрочем, что я ответил ему.

В нашей тюрьме часы для употребления пищи распределены так: утром мы получаем горячую воду и хлеб, в двенадцать часов дня нам дают обедать, а в шесть вечера вместе с горячей водой дают и ужин: что-нибудь простое, непривлекательное, но достаточно вкусное и здоровое. Правда, пища в общем несколько однообразна, но это и к лучшему, так как, не отвлекая внимания нашего на суетных попытках угодить желудку, тем самым освобождают дух наш для возвышенных занятий.

## Часть 8

На прошедшей неделе, в воскресенье, в нашей тюрьме случилось большое несчастье: известный читателю г. К., художник, покончил жизнь свою самоубийством, бросившись головою вниз со стола на каменный пол. Падение и сила удара были так ловко рассчитаны несчастным молодым человеком, что череп рассекся надвое. Горе г. начальника тюрьмы не поддается описанию.

Призвав меня к себе в кабинет, г. начальник в весьма гневных и резких выражениях, даже не подав мне руки, упрекнул меня в обмане и успокоился только после моих горячих извинений и обещания, что впредь подобные случаи не повторятся: я составлю такой проект надзора над преступниками, по которому самоубийства станут невозможными. Также огорчена смертью художника и почтенная супруга г. начальника, портрет которой остался незаконченным.

Конечно, я и сам не ожидал такого исхода, хотя уже за несколько дней до самоубийства г. К., при одном случае, он возбудил во мне сильное беспокойство. Именно: пришедши к нему в камеру с утренним приветом, я с изумлением увидел, что г. К. *вновь сидит перед грифельной доской* и чертит на ней каких-то человечков.

– Что это значит, мой друг? – осведомился я с осторожностью, к которой обязывал

меня мрачный и несговорчивый нрав юноши. – А как же портрет господина младшего помощника?

– К черту!

– Но ведь вы же...

– К черту!

После некоторого молчания я рассеянно заметил:

– Ваш портрет господина начальника пользуется большим успехом. Хотя некоторые из видевших и утверждают, что правый ус несколько короче левого...

– Короче?

– Да, короче. Но в общем находят, что сходство схвачено весьма удачно.

Г. К. отложил грифель и по виду совершенно спокойно сказал:

– Скажите вашему начальнику, что больше рисовать всю эту тюремную сволочь<sup>53</sup> я не стану.

После этих слов мне оставалось только удалиться, что я и вознамерился сделать. Но г. К., не могший обойтись без излияний, схватил меня за руку и с обычной горячностью сказал:

– Вы подумайте, дедушка, что это за ужас. Каждый день передо мною новая отвратительная рожа<sup>54</sup>. Сидит и смотрит на меня лягушечьими глазами. Что это? Сперва я смеялся, мне даже нравилось, но когда каждый день лягушечьи глаза, мне стало страшно. А он еще квакать начинает: ква-ква! Что это?

В глазах художника, действительно, был какой-то страх, даже безумие, пожалуй, – то безумие, которое уже вскоре свело его в столь преждевременную могилу.

– Дедушка! Нужно что-нибудь красивое, поймите: меня.

– А супруга господина начальника? Разве... Умолчу о тех крайне неприличных выражениях, в каких г. К., под влиянием возбуждения, отозвался о даме. Должен, однако, признаться, что до известной степени художник был прав в своих жалобах. Я несколько раз присутствовал при сеансах и заметил, что все позировавшие для художника держались не совсем естественно. Люди искренние и наивные, они, очевидно, в сознании необычности и важности своего положения, в убеждении, что черты их лица, увековеченные на полотне, перейдут к потомству, несколько преувеличивали те свойства, которые так характерны для их высокого и ответственного назначения в нашей тюрьме. Некоторая напыщенность поз, преувеличенное выражение суровой властности, явное сознание собственной значительности и отсюда видимое пренебрежение к предмету, на который обращены их взоры, – все это искажало их добрые и приветливые лица<sup>55</sup>. Но не понимаю, что ужасного нашел художник там, где было место лишь для улыбки. Более того, меня искренно возмутило то поверхностное отношение, с каким художник, считающий себя талантливым и умным, прошел мимо людей, не заметив, что у каждого из них теплится искра Божия. В поисках какой-то фантастической красоты он легкомысленно прошел мимо тех истинных красот, которыми полна душа человека. Не могу здесь не пожалеть о тех несчастных людях, подобных г. К., которые, в силу какого-то особенного устройства их мозгов, всегда обращают свои взоры в сторону темного, когда так много радости и света в нашей тюрьме!<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Буквально.

<sup>54</sup> Буквально.

<sup>55</sup> Мой благосклонный читатель не осудит строго этих простых и честных людей, если вспомнит тот общеизвестный факт, что даже великие мыслители, артисты и государственные мужи, позировавшие перед художником или фотографом, неизбежно принимают более или менее значительную позу, которая должна уже сама по себе свидетельствовать об их уме, таланте и высоком искусстве в управлении людьми.

<sup>56</sup> Так называемый пессимизм не есть научная теория, а просто скверное устройство мозгов! Ведь есть же скверные часы, которые всегда показывают время неверно.

Высказав все это г-ну К., я услышал, к сожалению, все тот же стереотипный и неприличный ответ:

– К черту!

Мне оставалось только пожать плечами, что я и сделал; художник же, вдруг совершенно изменив тон и обращение, серьезно обратился ко мне с вопросом, так же, по моему мнению, достаточно неприличным:

– Зачем вы лжете, дедушка? Конечно, я удивился:

– Я – лгу?!

– Ну как хотите, ну пусть правду, но только зачем? Я вот смотрю и думаю: зачем? зачем? Мой благосклонный читатель, хорошо знающий, чего *стоила мне правда*, легко поймет мое глубокое негодование; умышленно привожу эту дерзкую и подобные ей *клеветнические* фразы, чтобы показать, в какой атмосфере злобы, недоверия и неуважения приходится мне проходить тяжкий путь испытания. А он грубо настаивал:

– Нет, мне довольно ваших улыбок, вы мне прямо скажите: зачем?

Тогда я, признаюсь, вспылал:

– Ты хочешь знать, зачем говорю я *правду*? Затем, что я ненавижу ложь и предаю ее вечному проклятию! Затем, что роковая судьба сделала меня жертвою несправедливости, и, как жертва, как Тот, Кто принял на Себя великий грех мира и его великие страдания, я хочу указать людям путь. Жалкий эгоист, ты знаешь только себя и свое несчастное искусство, а я – я люблю людей.

Гнев мой возростал, я чувствовал, как надуваются жилы на моем лбу:

– Безумец, жалкий маляр, несчастный школьник, влюбленный в краски! Перед тобой проходят люди, а ты только и видишь, что лягушечьи глаза – как повернулся твой язык, чтобы сказать это? О, если бы хоть раз ты заглянул в человеческую душу! Какие сокровища нежности, любви, кроткой веры, святого смирения открыл бы ты там. И тебе, дерзкому, показалось бы, что ты вошел в храм – светлый, сияющий огнями храм. Но не мечите бисера перед свиньями, – сказано про таких, как ты.

Художник молчал, подавленный моей гневной и, к сожалению, не совсем сдержанной речью, наконец, вздохнув, он сказал:

– Простите меня, дедушка, я говорю глупости, конечно, но я так несчастен и так одинок. Конечно, милый дедушка, все это правда об искре Божией и обо всей этой красоте, но ведь и начищенный сапог красив! Я не могу, я не могу. Вы подумайте, разве может человек иметь такие усы, как у него<sup>57</sup>. А он еще жалуется: левый ус короче!

Он по-детски засмеялся и, вздохнув, добавил:

– Попробую еще. Буду рисовать эту даму. Действительно в ней есть что-то хорошее. Хотя все-таки она – корова.

Он опять засмеялся и осторожно, боясь смахнуть рукавом непрочный рисунок, отнес грифельную доску в угол. *И здесь я совершил то, к чему обязывал меня мой долг: схватив доску, сильным ударом я раздробил ее на куски.* Я думал, что художник с яростью бросится на меня, но этого не произошло: его слабому мозгу мой поступок показался таким кошунственным, таким сверхъестественно ужасным, что ни сл?ва не могли произнести его помертвевшие губы.

– Что вы сделали? – наконец спросил он тихо. – Вы ее разбили?

И, подняв руку, я торжественно ответил:

– Я сделал то, безумный юноша, что совершил бы я над сердцем моим, если бы оно вздумало шутить и смеяться надо мною! Несчастный, разве ты не видишь, что твое искусство уже давно смеется над тобою, что с твоей доски сам дьявол корчит тебе свои гнусные рожи!

---

<sup>57</sup> Какой удивительный аргумент!

– Да! Дьявол!

– Далекий твоему дивному искусству, я первоначально не понял тебя, твоей тоски – твоего ужаса бесцельности. Но когда сегодня, войдя, я увидел тебя за этим гибельным занятием, я сказал себе: пусть лучше он не творит совсем, чем творит так. Послушай меня.

Здесь впервые я открыл этому юноше священную формулу железной решетки, которая, разделяя бесконечное на квадраты, тем самым подчиняет его нам. С трепетом внимал г. К. моим речам, с ужасом невежды глядя на те знаки, которые ему, несомненно, казались кабалистическими и которые были лишь обычными знаками, употребляемыми в математике.

– Я ваш раб, дедушка, – сказал он под конец, целуя холодными губами мою руку.

– Нет, ты будешь моим любимым учеником, сын мой. Благословляю тебя.

И показалось мне, художник был спасен. Правда, ко мне относился он с большою холодностью, легко объясняемой, впрочем, тем чрезмерным уважением, какое внушил я ему, но портрет г-жи начальницы писал с таким жаром, с таким усердием, что почтенная дама была искренно тронута. И странно: в черты этой уже немолодой и несколько полной женщины художнику удалось вложить столько странной красоты, что даже г. начальник, уже давно привыкший к лицу своей супруги, был искренно восхищен его новым и невиданным выражением. Таким образом, все шло, казалось, прекрасно, как вдруг эта новая катастрофа, весь ужас которой знаю я *один*.

Признаюсь, в надежде не быть понятым превратно, что все последние дни я провел в состоянии крайней, даже несколько болезненной тревоги.

Не желая вызывать лишних толков, я скрыл от г. начальника, что художник перед самой смертью своею подбросил мне письмо, замеченное мною, к сожалению, только утром. Я не сохранил этой бумажки и не помню всего, что наговорил мне на прощание несчастный юноша; кажется, это была благодарность за мою попытку спасти его и искреннее сожаление, что слабые силы его не дают ему возможности воспользоваться моими указаниями. Но одна фраза крепко запечатлелась в моей памяти, и вы поймете, почему это, если я приведу ее во всей ее пугающей простоте:

*"Я ухожу из вашей тюрьмы "* – так гласит эта фраза.

И он *действительно* ушел: вот стены, вот окошечко в двери, вот вся наша тюрьма, а его нет, он ушел. Следовательно, и я мог уйти вместо того, чтобы тратить десятки лет на титаническую борьбу, вместо того, чтобы в отчаянных потугах, изнемогая от ужаса перед лицом неразгаданных тайн, стремиться к подчинению мира моей мысли и моей воле, я мог бы взлезть на стол, и – одно мгновение неслышной боли – я уже на свободе, я уже торжествую над замком и стенами, над правдой и ложью, над радостью и страданиями. Не скажу, чтобы и прежде не думал я о самоубийстве, как об одном из способов бегства, но лишь впервые, со всею соблазнительностью встала предо мною эта возможность<sup>58</sup>. В припадке низкого малодушия, которого я не скрою от моего читателя, как не скрываю от него хороших сторон моих, быть может, даже в припадке временного помешательства, я мгновенно забыл все, что знал о нашей тюрьме и ее великой целесообразности, забыл – стыдно сказать – даже великую формулу железной решетки, понятую и усвоенную с таким трудом; и уже приготовил из полотенца мертвую петлю, чтобы удавить себя. И уже в последнюю минуту, когда все было готово и оставалось только оттолкнуть табурет, я, с не покидавшею меня даже в эти минуты наклонностью к мышлению, подумал: но куда же я иду? Ответ был: я иду в смерть. А что такое смерть? И ответ был: не знаю. И этих коротких размышлений было достаточно, чтобы я пришел в себя и с горьким смехом над малодушием

---

<sup>58</sup> Интересный вопрос для психологов: насколько соблазнительность самоубийства объясняется тем, что в этом акте несомненна наличность именно убийства, первородного греха, к которому доселе так склонен человек. Раздвоение личности может быть так велико, что самоубийца, нанося удар себе, может испытывать тот сладострастный загадочный восторг, какой испытывает и настоящий убийца, разделяя ножом живые ткани. Вспомним скорпиона, который в ослеплении гнева яростно жалит собственное тело. Отнять жизнь почти всегда удовольствие для человека, даже в том случае, если жизнь эта – собственная.

своим снял с шеи роковую петлю. Как за минуту перед этим я готов был рыдать от тоски, так теперь я хохотал, хохотал, как иступленный, в сознании, *что еще одна ловушка, подставленная насмешливым случаем*, блестяще избегнута мною. О, сколько ловушек в жизни человека: как хитрый рыбак, судьба ловит его то на блестящую приманку какой-то правды, то на волосатого червячка темной лжи, то на призрак жизни, то на призрак смерти. Мой дорогой юноша, мой очаровательный глупец, мой восхитительный безумец – кто сказал вам, что наша тюрьма кончается здесь, что из *одной тюрьмы* вы не попали в *другую*, откуда уж едва ли придется вам бежать! Вы поторопились, мой друг, вы страшно поторопились, вы забыли меня спросить *кое о чем*, и кое-что я сказал бы вам; я сказал бы вам, что как над тем, что вы зовете жизнью и бытием, так и над тем, что вы называете небытием и смертью, одинаково царит всеильный *Закон*. Только глупцы, умирая, думают, что они кончают с собой – они кончают только с одной формой себя, чтобы немедленно принять другую.

Так размышлял я, смеясь над глупым самоубийцей, смешным разрушителем уз вечности; и вот что сказал я, обращаясь к тем двум безгласным сожителям моим, что неподвижно прилипли к белой стене:

– Верую и исповедую, что тюрьма наша бессмертна. Что скажете вы на это, *друзья мои*?

Но они молчали. И, рассмеявшись добродушно, – что за тихие сожители у меня! – я неторопливо разделся и отдался спокойному сну. И во сне я видел иную величественную тюрьму, и прекрасных тюремщиков с белыми крыльями за спиной, и г. главного начальника тюрьмы; не помню, были ли там окошечки на двери или нет, но кажется, что были: мне помнится что-то вроде ангельского глаза, с нежным вниманием и любовью прикованного ко мне. Мой благосклонный читатель, конечно, догадался, что я шучу: никакого сна я не видел, да и не имею обыкновения их видеть.

Не надеясь, что г. начальник, занятый неотложными делами по управлению, вполне поймет и оценит мою мысль о невозможности бегства из нашей тюрьмы, в своем докладе я ограничился лишь указанием некоторых способов, которыми могут быть предотвращены самоубийства. С великодушной близорукостью, свойственной людям деловым и доверчивым, г. начальник не заметил слабых сторон моего проекта<sup>59</sup> и горячо жал мне руки, выражая благодарность от имени всей нашей тюрьмы. *В этот день впервые я имел честь выкупать стакан чая в самой квартире г. начальника, в присутствии его любезной супруги и очаровательных детей, называвших меня дедушкой.* Слезы умиления, увлажнившие мои глаза, лишь в слабой степени могли выразить овладевшие мною чувства.

Между прочим, по просьбе г-жи начальницы, принявшей во мне горячее участие, я подробно рассказал трагическую историю убийства, так неожиданно и страшно приведшего меня в тюрьму. Я не мог найти достаточно сильных выражений, – да их и нет на человеческом языке, – чтобы достойно заклеить неизвестного злодея, не только убившего трех беззащитных людей, но в какой-то слепой и дикой ярости изуверски надругавшегося над ними.

Как показал осмотр и вскрытие трупов, убийца последние удары наносил уже мертвым; и свойство некоторых колотых ран, бесцельных и жестоких, указывало на садические наклонности отвратительного злодея. Очень возможно, впрочем, – даже и злодеям нужно отдавать справедливость, – что человек этот, опьяненный видом крови стольких невинных жертв, *временно* перестал быть человеком и стал зверем, сыном изначального хаоса, детищем темных и страшных вожделений. Характерно, что убийца после совершения преступления пил вино и кушал бисквиты – *остатки того и другого были найдены на столе*

---

<sup>59</sup> В действительности самоубийств предотвратить нельзя. Изучая в этом смысле летописи нашей тюрьмы, я напал на некоторые факты, свидетельствующие о почти гениальной находчивости самоубийц: так, один арестант покончил с собою, засунув в горло намотанную на палке грязную тряпку, которой прочищали ретирады.



со следами окровавленных пальцев. Но есть нечто ужаснейшее, чего ни понять, ни объяснить не может мой человеческий разум: закуривая сам, убийца, по-видимому, в чувстве какого-то странного дружелюбия, вложил зажженную сигару в стиснутые зубы моего покойного отца.

Давно уже не припоминал я этих ужасных подробностей, почти стертых рукою времени; и теперь, восстанавливая их перед потрясенными слушателями, не хотевшими верить, что такие ужасы возможны, я чувствовал, как бледнело мое лицо и волосы шевелились на моей голове. В тоске и гневe я поднялся с кресла и, выпрямившись во весь рост, воскликнул:

— Земное правосудие часто бывает бессильно, — воскликнул я, — но я умоляю правосудие небесное, умоляю справедливую жизнь, которая никогда не прощает, умоляю все высшие законы, под властью которых живет человек, — да не избежит виновный заслуженной им беспощадной кары! кары!

Потрясенные моими рыданиями слушатели тут же выразили пылкую готовность хлопотать о моем освобождении и хоть отчасти искупить этим нанесенную мне несправедливость. Я же, попросив извинения, удалился к себе в камеру.

По-видимому, мой старческий организм уже не выносит таких потрясений; да и трудно, даже будучи сильным человеком, вызывать в воображении некоторые образы, не рискуя целостью рассудка: только этим могу я объяснить ту странную галлюцинацию, что в одиночестве камеры предстала моим утомленным глазам. В некотором оцепенении, бесцельно я смотрел на запертую глухую дверь, когда мне почудилось, что сзади меня кто-то стоит; это чувство и раньше в своей обманчивости посещало меня, и некоторое время я медлил обернуться. Когда же я обернулся, то увидел следующее: в пространстве между распятием и моим портретом, на некотором расстоянии от пола, не превышающем, впрочем, четверти аршина, как бы висящим в воздухе, явился труп моего отца. Затрудняюсь передать подробности, так как уже давно наступили сумерки, но могу сказать наверное, что это был именно образ трупа, а не живого человека, хотя во рту у него и *дымилась сигара*. Точнее сказать, дыма от сигары не было, а только светился слабо красноватый, как бы потухающий огонек. Характерно, что ни в эту минуту, ни потом я не ощутил *запаха табаку* — сам я давно уже не курю. Здесь — я вынужден сознаться в своей слабости, но обман зрения был поразителен — я заговорил с галлюцинацией. Подойдя близко, насколько это было возможно, — труп не отодвигался по мере моего приближения, но оставался совершенно неподвижным, и, наступая дальше, я должен был прямо наткнуться на него, — я сказал призраку:

— Благодарю тебя, отец. Ты знаешь, как тяжело твоему сыну, и ты пришел, ты пришел, чтобы засвидетельствовать мою невиновность. Благодарю тебя, отец. Дай мне твою руку, и крепким сыновним пожатием я отвечу на твой неожиданный приход... Не хочешь? Давай руку! Давай руку — я тебе говорю, иначе я назову тебя лжецом!

Я протянул руку, но, конечно, галлюцинация не *удостоила* меня ответом, и я навсегда лишился возможности узнать, каково прикосновение тени. Тот крик, который я испустил и который так обеспокоил моего друга-тюремщика и произвел некоторый переполох в тюрьме, был вызван *внезапным* исчезновением призрака, столь *внезапным*, что образовавшаяся на месте трупа пустота показалась мне почему-то более ужасною, нежели сам труп.

Такова сила человеческого воображения, когда, возбужденное, творит оно призраки и видения, заселяя ими бездонную и навеки молчаливую пустоту. Грустно сознаться, что существуют, однако, люди, которые верят в призраки и строят на этом вздорные теории о каких-то сношениях между миром живых людей и загадочной страной, где обитают умершие. Я понимаю, что может быть обмануто человеческое ухо и даже глаз<sup>60</sup>, но как

---

<sup>60</sup> Между прочим, я сказал тюремщику:

— У меня какое-то странное ощущение, как будто здесь пахнет сигарным дымом. Вам не кажется?

Тюремщик добросовестно обнюхал воздух и ответил:

— Нет, я не нахожу этого. Вам показалось. Вот, если вам нужны подтверждения, прекрасное доказательство, что все виденное мною, если и существовало, — то только на сетчатке моего глаза.

может впасть в такой грубый и смешной обман великий и светлый разум человека?

## Часть 9

Произошло нечто в высокой степени неожиданное: хлопоты моих друзей, г. начальника и его супруги, увенчались успехом, и вот уже два месяца, как я на свободе.

Счастлив сообщить, что тотчас же по выходе из нашей тюрьмы я занял положение весьма почетное, на которое едва ли смел когда-либо рассчитывать в сознании моих скромных достоинств. Вся печать с единодушным восторгом встретила меня; многочисленные журналисты, фотографы, даже карикатуристы (люди нашего времени так любят смех и удачные остроты) в сотнях статей и рисунков воспроизвели всю историю моей замечательной жизни. С поразительным единодушием, не сговариваясь друг с другом, газеты присвоили мне наименование "Учитель", высоколестное имя, которое, после некоторых колебаний, я принял с глубокой признательностью.<sup>61</sup>

Те средства, которые оставила мне добрая матушка и которые сильно возросли за то время, пока я находился в тюрьме, дали мне возможность устроиться не только прилично, но даже и роскошно в одном из наиболее аристократических отелей. В моем распоряжении находится многочисленный штат прислуги, автомобиль – прекрасное изобретение, с которым я познакомился впервые, – и вообще я так умело распорядился деньгами, что, несомненно, попади богатство в мои руки в свое время, я не оставил бы его лежать втуне. Живые цветы, в изобилии доставляемые очаровательными посетительницами, придают моему уголку вид оранжереи или даже кусочка тропического леса. Мой слуга, весьма приличный молодой человек, положительно в отчаянии: никогда, по его словам, он не видал столько цветов и не обонял одновременно столько различных запахов. Если бы не мой преклонный возраст и не та строгая и важная корректность, с какой держусь я с моими почитательницами, – я не знаю, перед чем могли бы остановиться они в выражениях своих пылких чувств. Сколько надушенных записочек! Сколько томных вздохов и покорно молящих глаз! Даже не обошлось дело без прелестной незнакомки под черной вуалью: три раза в различные часы таинственно появлялась она и, узнав, что у меня есть посетители, столь же таинственно исчезала.

Добавлю, что в настоящее время я удостоен чести быть избранным в почетные члены многих человеколюбивых обществ, как-то: "Лиги мира", "Лиги борьбы с детской преступностью", "Общества друзей человека" и некоторых других. Кроме того, по приглашению редактора одной из наиболее распространенных газет, с будущего месяца я начинаю серию публичных лекций, для каковой цели отправляюсь в турне вместе с моим любезным импресарио.<sup>62</sup>

Между прочим, во избежание излишних пересудов (я живу сейчас точно в стеклянном

---

<sup>61</sup> Не знаю, стоит ли упоминать о нескольких враждебных замечках, вызванных раздражением и завистью – пороком, столь часто пятнающим человеческую душу: в одной из этих заметок, появившейся, между прочим, в очень грязной газетке, какой-то негодяй, руководствуясь жалкими сплетнями и ни на чем не основанными слухами о моих беседах в нашей тюрьме, назвал меня "изувером и лжецом". Возмущенные наглостью жалкого писаки, друзья мои хотели подвергнуть его преследованию, но я убедил их этого не делать: в самом себе находит порок достойную его кару.

<sup>62</sup> Я уже подготовил материалы для первых трех моих лекций и в надежде, что читателю моему это будет не совсем безынтересно, сообщу конспект таковых.

ЛЕКЦИЯ ПЕРВАЯ Хаос или порядок? Извечная борьба между тем и другим. Вечный бунт и вечное поражение бунтовщика – хаоса. Торжество закона и порядка.

ЛЕКЦИЯ ВТОРАЯ Что такое душа человека? Извечная борьба двух начал в душе человека: хаоса, из коего она рождена, и гармонии, к коей она неудержимо стремится. Ложь, как детище хаоса, и правда, как дитя гармонии. Торжество правды и гибель лжи.

ЛЕКЦИЯ ТРЕТЬЯ Разъяснение священной формулы железной решетки.

колпаке) я отказался на некоторое время от продолжения тех приятных собеседований, которые на языке моих очаровательных посетительниц назывались исповедью; надеюсь, впрочем, что со временем мне удастся их восстановить и с избытком вознаградить за испытанные лишения мою милую паству.

Как видит мой благосклонный читатель, справедливость все же не пустой звук, и за мои страдания я получаю ныне немалую награду. Но, не смея ни в чем упрекнуть столь милостивую ко мне судьбу, я все же не чувствую того удовлетворения, для которого, казалось, имел бы полное основание. Правда, первое время я был положительно счастлив; но уже вскоре привычка к строго логическому мышлению, зоркость и неподкупность взгляда, приобретенная созерцанием мира сквозь математически правильную решетку, привели меня к ряду разочарований.

Боюсь сейчас сказать это с полной уверенностью, но, кажется, вся их жизнь на так называемой свободе есть сплошной самообман и ложь. Жизнь каждого из тех людей, кого я видел за эти дни, движется по строго определенному кругу, столь же прочному, как коридоры нашей тюрьмы, столь же замкнутому, как циферблат тех часов, что в невинности разума ежеминутно подносят они к глазам своим, не понимая рокового значения вечно движущейся и вечно к своему месту возвращающейся стрелки, – и каждый из них чувствует это<sup>63</sup>, но в странном ослеплении уверяет, что он совершенно свободен и движется *вперед*. Подобно глупой птице, которая бьется до полного истощения сил о прозрачную стеклянную преграду, не понимая, что ее удерживает, эти люди беспомощно бьются о стены своей стеклянной тюрьмы. Я не могу без негодования говорить об ихнем небе, глубиной и бесконечностью которого они так восхищаются: наглое, оно обманывает их своею мнимой доступностью, своею лживой красотой. Меня поражает безумие их широко открытых, ничем не защищенных окон, в которые вливается свободно бесконечность, безумие их столь же широко открытых глаз, только усиленным морганием кладущих преграду между собой и вечностью. Додумавшись до того, что время необходимо разделить на минуты, что пространство необходимо разбить на сантиметры, они не умеют справиться с вечностью, надев на нее железную решетку. О, если б они поняли, что свободы нет, что свободы не нужно, – как были бы они счастливы в сознании мудрой подчиненности целесообразным и строгим велениям рока.

Глубоко ошибся я, как кажется, и в значении тех приветствий, которые выпали на мою долю по выходе из тюрьмы. Конечно, я был убежден, что во мне они приветствуют представителя нашей тюрьмы, закаленного опытом вождя, учителя, явившегося к ним лишь для того, чтобы открыть им великую тайну целесообразности. И когда они поздравляли меня с дарованной мне свободой, я отвечал благодарностью, не подозревая, какой идиотский смысл влагают они в это слово<sup>64</sup>. Поверит ли читатель такой дикой несообразности: ни одна из газет не осмелилась напечатать моего рассказа о том, каким простым и мудрым способом пришел я к удовлетворению моих половых потребностей, находя, что это может повредить их общественной нравственности.

– А как бы вы поступили на моем месте? – спросил я одного, по виду даже неглупого господина, стыдливо выслушавшего мой рассказ. Он замялся.

– Вероятно, поступил бы так же, но рассказывать об этом... И вообще, чтобы Онания был великим человеком... – он фыркнул. – Вы шутите, конечно?

Я шучу?! Глупые лицемеры, боящиеся сказать правду даже там, где она их украшает. Вообще моя закаленная правдивость нашла для себя жестокое испытание в среде этих лживых и мелочных людей. Положительно ни один субъект не поверил, что в тюрьме я был

---

<sup>63</sup> Как чувствует, вероятно, и цирковая лошадь.

<sup>64</sup> Да простится мне это грубое выражение, но я не в силах далее сдерживать моего отвращения к их нелепой жизни, к их помыслам, к их чувствам.

счастлив, как никогда. Чему же они тогда удивляются во мне и зачем печатают мои портреты? Разве так мало идиотов, которые в тюрьме несчастны! И самое любопытное, всю соль чего сумеет оценить мой благосклонный читатель: часто ни на грош не веря мне, они, тем не менее, *совершенно искренно* восхищаются мною, кланяются, жмут руки и на каждом шагу лопочат: «Учитель!», «Учитель!». И если бы от своей постоянной лжи они получили какую-нибудь пользу, – но нет: они совершенно бескорыстны и лгут точно по чьему-то высшему приказу, лгут в фанатическом убеждении, что ложь ничем не отличается от правды. Дрянные актеры, даже не умеющие сделать порядочного грима, они с утра до ночи кривляются на каких-то подмостках и, умирая самой настоящей смертью, страдая самым настоящим страданием, в свои предсмертные судороги вносят грошовое искусство арлекина<sup>65</sup>. Даже мошенники у них не настоящие, а только играют роль мошенников, сами же остаются честными людьми; а роль честных – исполняют преимущественно мошенники и исполняют скверно, и публика видит это, но, во имя все той же фатальной лжи, несет им венки и букеты. А если действительно находится такой талантливый актер, что умеет совершенно стереть границу между правдой и обманом, так, что даже и они начинают верить, – они в восторге называют его великим, объявляют подписку на памятник<sup>66</sup>. Отчаянные трусы, они больше всего боятся самих себя и, любуясь с восторгом отражением в зеркале своего лживого загримированного лица, – воют от ужаса и злости, когда кто-нибудь неосторожный подставляет зеркало ихней душе. Без сомнения, мой благосклонный читатель должен принять все это относительно, не забывая, что старческому возрасту свойственна некоторая ворчливость. Конечно, я встретил немало достойнейших людей, безусловно правдивых, искренних и смелых; горжусь сознанием, что у них я нашел надлежащую оценку моей личности. При поддержке этих друзей моих я надеюсь с успехом закончить борьбу за истину и справедливость. Для моих шестидесяти лет я еще достаточно крепок, и нет, кажется, силы, что могла бы сломить мою железную волю.

Временами мною овладевает усталость: благодаря нелепому строю их жизни, я даже ночью не имею надлежащего покоя. Огромные окна, эти бессмысленные зияющие провалы, даже сквозь толстую завесу зовущие к какому-то полету, – возбуждают и беспокоят меня. И сознание, что, ложась спать, я мог в рассеянности не запереть на ключ двери моей спальни, заставляет меня десятки раз вскакивать с постели и с дрожью ужаса ошупывать замок. Недавно так и случилось: вынув ключ из двери и спрятав его под подушку, в полной уверенности, что дверь заперта, я вдруг услышал стук, а затем дверь *приоткрылась*, пропустив улыбающееся лицо моего слуги. Вы, дорогой читатель, легко поймете тот ужас, какой испытал я при этом неожиданном появлении: мне почудилось, что кто-то вошел в *мою душу*. И, хотя мне вовсе нечего скрывать, подобное вторжение мне кажется по меньшей мере неприличным.

На днях я слегка простудился – в их окна страшно дует, и попросил моего слугу пободрствовать возле меня ночь. Наутро я шутя спросил его:

– Ну как, много я болтал во сне?

– Нет, вы ничего не говорили.

– А мне снился какой-то страшный сон, и, помнится, я даже плакал.

– Нет, вы все время улыбались, и я еще подумал: какие счастливые сны видит наш Учитель.

---

<sup>65</sup> Пусть мой благосклонный читатель обратит внимание на записки самоубийц, а также пусть вспомнит он все знаменитые "Исповеди" и автобиографии, в которых глубочайшие страдания роковым образом сочетаются с чисто актерской, почти произвольной игрой жестами, интонацией и словами. Я убежден, что если гальванизировать свежий труп одного из них, то в свои движения, наряду с несомненной мертвецкой искренностью, он внесет некоторую искусственную жестикуляцию.

<sup>66</sup> Но денег не дают.

Милый юноша, – по-видимому, он искренно предан мне, и это так трогает меня в настоящие тяжелые дни. Завтра сажусь за составление лекции. Пора!

## Часть 10

Боже мой, что со мною случилось! Я не знаю, как рассказать об этом читателю. Я был на краю пропасти. *Я чуть не погиб*. Какие жестокие испытания посылает мне судьба. Ведь мне шестьдесят лет – шестьдесят лет. Безумцы, мы улыбаемся, ничего не подозревая, когда над нами уже занесена чья-то убийственная рука, улыбаемся, чтобы в следующее мгновение дико вытаращить глаза от ужаса. Я – я плакал о чем-то. Я плакал! Еще одно мгновение – и, обманутый, я бросился бы вниз, думая, что лечу к небу. Оказывается – оказывается: та «прелестная незнакомка» под черною вуалью, что трижды таинственно являлась ко мне, есть не кто иная, как г-жа NN, моя бывшая невеста, моя любовь, моя мечта и страдание. *Ведь ни одной женщины, кроме нее, я не знал и не любил во все эти бесконечные, ужасные года*. И оказалось...

Но порядок, порядок! Да простит мне мой благосклонный читатель невольную жалкую бессвязность предыдущих строк, но мне шестьдесят лет, и силы мои слабеют. Силы мои слабеют, и я один. Будь хоть ты моим другом в эту минуту, мой неизвестный читатель: ведь не железный же я, и силы мои слабеют. Слушай, друг: подробно и точно, со всею объективностью, на какую только способен мой холодный и светлый разум, постараюсь передать я происшедшее<sup>67</sup>. Я сидел за составлением лекции, весь охваченный жаром интересной работы, когда мой слуга доложил, что *вновь* явилась незнакомка под черной вуалью и просит разрешения видеть меня. Признаюсь, не без некоторого, вполне понятного раздражения я уже готовился ответить отказом, но любопытство, наконец нежелание причинить обиду побудили меня принять неожиданную гостью. Придав своему лицу и позе то обычное выражение величавого благородства, с каким встречаю я посетителей, и только слегка смягчив его ввиду романического характера истории шутилой и приятной улыбкой, я приказал открыть дверь.

– Прошу садиться, моя дорогая гостья, – любезно предложил я незнакомке, которая, все еще не снимая вуали, в каком-то странном оцепенении стояла предо мною.

Она села.

– Уважая всякую тайну, – продолжал я шутиливо, – я все же просил бы вас снять это мрачное, безобразящее вас покрывало. Разве нуждается в маске человеческое лицо?

В волнении, причину которого я понял, как оказалось, совершенно неверно, странная посетительница ответила отказом.

– Хорошо, я сниму, но только потом. Я раньше хочу посмотреть на вас.

Приятный голос незнакомки не вызвал во мне никаких воспоминаний. Весьма заинтригованный и даже польщенный, я с полной готовностью предоставил посетительнице все сокровища моего ума, опыта и таланта. С увлечением, какого уже давно у меня не бывало, я рассказал ей всю поучительную историю моей жизни, непрестанно освещая ее в мельчайших подробностях лучом великой целесообразности<sup>68</sup>. Странное внимание, с каким слушала незнакомка мои речи, частые и глубокие вздохи, нервный трепет тонких пальцев, обтянутых черною перчаткой, взволнованные восклицания: – О, Боже! – вдохновили меня. И – что редко позволяю я себе с дамами – я рассказал ей всю прекрасную повесть моих многолетних отношений с г-жою NN, которая, как воплотившаяся мечта, сама того не ведая, разделяла мое уединение и мое ложе в нашей тюрьме. Захваченный своим рассказом, я,

---

<sup>67</sup> И пойми то, чего недоскажет мой язык.

<sup>68</sup> При этом я пользовался отчасти тем материалом, над которым только что работал, подготавливая мои лекции.



признаюсь, не обратил должного внимания на странное поведение моей посетительницы: потеряв всякую сдержанность, она хватала мои руки с тем, чтобы в следующее мгновение резко оттолкнуть их, плакала и, пользуясь каждой паузой в моей речи, умоляла:

– Не надо, не надо, не надо! Замолчите! Я не могу этого слышать!

И в ту минуту, когда я всего менее этого ожидал, она сдернула вуаль, и моим глазам предстало лицо ее, моей любви, моей мечты, моей бесконечной и горькой муки. Оттого ли, что всю жизнь я прожил с нею в одной мечте, с нею был молод, с нею мужал и старился, с нею подвигался к могиле – лицо ее не показалось мне ни старым, ни увядшим: оно было как раз тем, каким видел я в грезах моих, бесконечно дорогим и любимым.

Что сделалось со мною? Впервые за десятки лет я забыл., что у меня есть лицо, впервые за десятки лет, как юноша, как пойманный преступник, я беспомощно смотрел и ждал какого-то смертельного удара.

– Ты видишь, ты видишь! Это я. Боже мой, ведь это же я! Что же ты молчишь? Ты не узнал меня?

Я не узнал ее! Лучше бы никогда не знать мне этого лица! Лучше бы ослепнуть мне, чем снова увидеть ее!

– Что же ты молчишь? Какой ты страшный! Ты забыл меня!

– Сударыня...

Конечно, мне и следовало так продолжать: я видел, как отшатнулась она, я видел, как дрожащими пальцами, почти падая, она искала вуалетку, я видел, что еще слово мужественной правды, и страшное видение исчезнет, чтобы снова не вернуться никогда. Но кто-то чужой во мне – не я, не я! – произнес эту нелепую, смешную фразу, в которой звучало сквозь холод ее так много ревности и безнадежной тоски:

– Сударыня, вы изменили мне. Я вас не знаю. Быть может, вы ошиблись дверью. Вас, вероятно, ждут ваш муж и дети. Позвольте – мой слуга проводит вас до кареты.

Думал ли я, что эти слова, сказанные все же голосом строгим и холодным, *так* отзовутся в сердце женщины: с криком, всю горькую страстность которого я не сумею передать, она бросилась предо мною на колени, восклицая:

– Так ты любишь меня!

И здесь, к стыду моему, началось то дикое, сверхъестественное, чему я не могу и не смею найти оправдания. Забывая, что жизнь прожита, что мы старики, что все погребло, развеяно временем, как пыль, и вернуться не может никогда; забывая, что я сед, что горбится моя спина, что голос страсти звучит дико из старческого рта, – я разразился неистовыми жалобами и упреками. Внезапно помолодев на десятки лет, мы оба закружились в бешеном потоке любви, ревности и страсти.

– Да, я изменила тебе! – кричали мне ее помертвевшие губы. – Я знала, что ты невинен...

– Молчи, молчи.

– Надо мной смеялись, даже друзья твои, твоя мать, которую я за это ненавижу, все предали тебя. И только я одна твердила: он невинен.

О, если бы знала эта женщина, что делают со мной ее слова! Если бы рог архангела, зовущего на Страшный суд, зазвучал над самым ухом моим, он не испугал бы меня так: что значит для смелого слуха рев трубы, зовущей к борьбе и состязанию. Воистину бездна раскрылась под ногами моими, и, точно ослепленный молнией, точно ударом оглушенный, я закричал в диком и непонятном восторге:

– Молчи! Я...

Если бы женщина эта была послана Богом, она замолчала бы; если бы дьяволом была послана – замолчала бы она и тогда. Но не было в ней ни Бога, ни дьявола, и, *перебивая* меня, не давая мне окончить начатого, она продолжала:

– Нет, я не замолчу. Я все должна сказать тебе, я столько лет ждала тебя. Слушай, слушай!

Но вдруг увидела она мое лицо и отступила в испуге.

– Что ты? Что с тобою? Зачем ты смеешься? Я боюсь твоей улыбки. Перестань смеяться! Не надо, не надо!

Но я и не смеялся, я только улыбался тихо. А затем совершенно серьезно и без улыбки я сказал:

– Я улыбаюсь, потому что рад видеть тебя. Говори мне о себе.

И как во сне увидел я склоненное ко мне лицо, и тихий, страшный шепот коснулся моего слуха:

– Ты знаешь, я люблю тебя. Ты знаешь, всю жизнь я любила только тебя одного. Я жила с другим и была верна ему, у меня дети, но, ты знаешь, все они чужие мне: и он, и дети, и я сама. Да, я изменила тебе, я преступница, но я не знаю, что сделалось тогда со мною, ты ведь знаешь, какой он? Он был так добр со мною, он притворялся, я потом узнала это, что также не верит в твою виновность, и этим, подумай, *этим* он купил меня.

– Ты лжешь!

– Клянусь тебе. Целый год ходил он около меня и говорил только о тебе. Знаешь, он даже плакал однажды, когда я рассказала ему о тебе, о твоих страданиях, о твоей любви.

– Но ведь он же лгал!

– Ну да, конечно, лгал. Но тогда он показался мне таким милым, таким добрым, что я поцеловала его в лоб. Но только в лоб, больше не было ничего, даю тебе честное слово<sup>69</sup>. Потом мы с ним возили цветы тебе, в тюрьму. И вот раз, когда мы возвращались... нет, ты послушай... он вдруг предложил мне поехать покататься, вечер был такой хороший...

– И ты поехала! Как же смела ты поехать! Ты только что видела мою тюрьму, ты только что была вблизи меня – и смела поехать с ним? Какая подлость!

– Молчи, молчи. Я знаю, я преступница. Но я так устала, так измучилась, а ты был так далеко. Пойми меня.

Она заплакала, ломая руки.

– Пойми меня. Я так измучилась тогда. И он... ведь он же видел, какая я... он осмелился поцеловать меня.

– Поцеловать! И ты позволила! В губы?

– Нет, нет! Только в щеку.<sup>70</sup>

– Ты лжешь.

– Нет, нет. Клянусь тебе. Ну, а потом... ну, а потом... Я засмеялся.

– Ну, а потом, конечно, в губы. И ты ответила ему? И вы катались по лесу – ты, моя невеста, моя любовь, моя мечта. И все это для меня? И детей с ним ты рожала для меня? Говори! Да говори же!

В бешенстве я ломал ее руки, и, извиваясь, как змея, безнадежно пытаюсь укрыться от моего взгляда, она шептала:

– Прости меня, прости меня.

– Сколько у тебя детей?

– Прости меня.

Но рассудок покидал меня, и в нарастающем бешенстве, топая ногою, я кричал:

– Сколько детей? Говори. Я убью тебя!

И это я *действительно* сказал: по-видимому, рассудок окончательно готовился меня покинуть, если я, я мог грозить убийством беззащитной женщине. И она, догадываясь, очевидно, что это только слова, ответила с притворной готовностью:<sup>71</sup>

– Убей! Ты имеешь право на это! Я преступница. Я обманула тебя. А ты мученик, ты

---

<sup>69</sup> Неправда.

<sup>70</sup> Неправда.

<sup>71</sup> Несомненно, притворною.

святой! Когда ты рассказывал мне... Это правда, что даже в мыслях ты не изменял мне? Даже в мыслях!

И снова под ногами моими раскрылась бездна, все шаталось, все падало, все становилось бессмыслицей и сном, и, с последней попыткой сохранить погасавший рассудок, я крикнул грубо:

– Но ведь ты же счастлива! Ты не можешь быть несчастна, ты не имеешь права быть несчастной! Иначе я сойду с ума!

Но она не поняла. С горьким смехом, с безумной улыбкой, в которой мука сочеталась с какой-то светлой небесной радостью, она сказала:

– Я счастлива? Я – счастлива? О друг мой, только у ног твоих я могу найти счастье. С той минуты, как ты вышел из тюрьмы, я возненавидела мой дом, мою семью, я там одна, я всем чужая. Если бы ты знал, как я ненавижу этого негодяя!

– Ты говоришь о муже!

– Он вор. Мой муж ты! Ты мудрый, ты верно почувствовал: в тюрьме ты был не один: я всегда была с тобою...

– И ночь?

– Да, все ночи.

– А кто же лежал с *ним*?

– Молчи, молчи! Если бы ты только слышал, если бы ты только видел, с какою радостью я бросила ему в глаза – подлец! Десятки лет оно жгло мой язык; ночью, в его объятиях, я тихонько твердила про себя: подлец, подлец, подлец! И ты понимаешь: то, что он считал страстью, было ненавистью, презрением<sup>72</sup>. И я сама искала его объятий, чтобы еще раз, еще раз оскорбить его.

Она захохотала, пугая меня диким выражением своего лица.

– Нет, ты подумай только: всю жизнь он обнимал только ложь. И когда, обманутый, счастливый, он засыпал, я долго и тихонько лежала открывши глаза и тихонько скрипела зубами, и мне хотелось ущипнуть, уколоть его булавкой<sup>73</sup>. И ты знаешь, – она снова захохотала, – только поэтому я не изменяла ему.

Мне казалось, что в мозг мой вгоняют клинья. Схватившись за голову, я закричал:

– Ты лжешь! Кому ты лжешь?

– Нет, правда же, голубчик. Мне очень нравился один, ты его не знаешь, и он любил меня. Но разве могла я изменить *тебе*?

– Мне?

Воистину, с призраком мне было легче говорить, чем с женщиной! Что мог сказать я ей – мой ум мутился. И как мог я оттолкнуть ее, когда с беспредельной жадностью, полная любви и страсти, она целовала мои руки, глаза, лицо. Это она, моя любовь, моя мечта, моя горькая мука!

Я люблю тебя. Я люблю тебя.

И я поверил всему: я поверил ее любви, поверил, что, отдаваясь этому негодяю, она жила только со мною, как честная и никогда не изменяющая жена. Я всему поверил. И вновь я почувствовал черными мои кудри – и вновь я увидел себя молодым. И я упал перед ней на колени и плакал долго, и тихо шептал о каких-то страданиях, о тоске одиночества, о чьем-то сердце, разбитом жестоко, о чьей-то поруганной, искалеченной, изуродованной мысли. И, плача и смеясь, гладила она мои волосы; и вдруг заметила, что они седые, и закричала дико.

– Что с тобою?

– А жизнь? Ведь я же старуха.

Нет, я ничего не понимаю. Я не верю, я не могу поверить тому, что произошло. Уже

---

<sup>72</sup> Но он-то воспринимал это как страсть!

<sup>73</sup> Мои очаровательные читательницы оценят, надеюсь, этот способ причинять страдания...

давно, уж много лет во мне погасла страсть. Откуда же вновь с такою силою явилась она! Разве на свете бывают чудеса! И неужели это старуха, а не девушка, не женщина, сгорающая страстью, обнимала меня, прижималась ко мне взволнованною грудью. Мы плакали и смеялись. И так, плача и смеясь, мы отделились друг другу. О, жалкий и постыдный миг! Пусть всею своею тяжкою громадой придавит и убьет тебя забвение. Я не хочу принять тебя, безумный дар насмешливой судьбы, — я не хочу, я не хочу.

А она говорила, смеясь и плача:

— Ты подумай, это наша первая брачная ночь. Воистину, здесь третьим присутствовал сам сатана. Было ровно половина четвертого, когда она ушла. Время довольно позднее для стариков. Уходя, она потребовала, чтоб я, как юноша, проводил ее до самого порога, — и я сделал это. Уходя, она говорила мне:

— Завтра я приезжаю к тебе совсем. Я знаю, дети откажутся от меня, — ты знаешь, моя дочь скоро выходит замуж, — но ведь их и так нет у меня, и мы уедем с тобою... Ты любишь меня?

— Люблю.

— Милый, мы уедем далеко-далеко. Ты хотел читать какие-то лекции. Этого не надо. Мне не нравится, что ты там говоришь о какой-то железной решетке<sup>74</sup>. Ты просто измучился, тебе так надо отдохнуть. Хорошо?

— Да, хорошо.

— Ах, я забыла вуалетку. Сохрани ее, сохрани ее на память о нынешнем дне. Милый!

В вестибюле, в присутствии сонного портье, она горячо поцеловала меня. От нее пахло какими-то новыми духами, не теми, что было надушено письмо. И дышала она тяжело, как загнанная лошадь: в такие годы сильное волнение не проходит безнаказанно. И на рыданье был похож ее последний кокетливый смех, с каким исчезла она за стеклянной дверью. Она ушла.

В ту же ночь, разбудив слугу, я приказал ему уложить вещи, и мы уехали. Я не окажусь, где нахожусь я сейчас; но всю вчерашнюю и нынешнюю ночь над головою моей шумели деревья и дождь стучал в окна. Здесь окна маленькие, и мне легче за ними. Ей я написал довольно обширное письмо, содержание которого считаю излишним приводить. Больше с нею мы не увидимся никогда.

Но что же мне делать? Пусть извинит читатель эти бессвязные вопросы. Они так естественны в моем положении. К тому же во время переезда я схватил сильный ревматизм, столь мучительный, даже опасный в мои годы, и он не дает мне возможности мыслить спокойно. Почему-то очень много думаю о моем юном, столь безвременно погибшем г. К. Каково-то ему в его новой тюрьме?

Завтра утром, если позволят силы, намереваюсь сделать визит г. начальнику нашей тюрьмы и его почтенной супруге. Наша тюрьма!..

## Часть 11

Бесконечно счастлив сообщить моему дорогому читателю, что как телесные, так и душевные силы мои вполне восстановились. Продолжительный отдых на лоне природы, среди ее умиротворяющих красот, созерцание сельской жизни, столь простой и ясной, отсутствие городского шума, когда сотни ветряных мельниц бестолково машут перед носом своими длинными руками; наконец полное, ничем не нарушаемое одиночество — вновь возвратили моему поколебленному мирозозерцанию всю его былую стройность и железную, непреодолимую крепость. Спокойно и уверенно гляжу я в мое будущее, и хотя ничего другого, кроме одинокой могилы и последнего странствия в неизвестную даль, оно мне не сулит, я столь же мужественно готов встретить смерть, как прожил жизнь, черпая силу в

---

<sup>74</sup> Так поняла меня г-жа NN.

одиночестве моем, в сознании невинности и правоты моей.

Если, как уверяют богословы, нас ждет загробная жизнь и последний Страшный суд, я и на Страшном суде перед ликом бессмертных небожителей громко засвидетельствую мою невинность. Подобно тому невинному Агнцу, Который взял на Себя грехи мира – поднял я на свои человеческие рамена великий грех мира и бережно, не расплескав ни капли, донес его до могилы. Пусть сгибались под тяжкою ношею мои колени, пусть гнулась спина, – мое всевыносящее сердце никогда не просило пощады и ниоткуда не ждало ее. И если на Страшном суде я не встречу справедливости, терпеливо и покорно, в безграничности времен, я буду ждать нового, *Страшнейшего суда*.

Столь же счастлив сообщить моему любезному читателю, что непродолжительное пребывание на их так называемой свободе во многом содействовало дальнейшему развитию моих взглядов и помогло избавиться от одной грубейшей, возмутительной ошибки. Несколько непродуманно принимая устройство нашей тюрьмы за идеальное и окончательное (сколько горьких разочарований принесла мне эта ошибка!) и видя в нашей тюрьме существование "общих камер для мошенников", я утвердился на мысли, что подобные камеры столь же законосообразны, естественны и логичны, как и одиночное заключение. Только лично пожив в одной из таких камер – да простится мне эта несколько дерзкая шутка в отношении к их жизни! – я почувствовал всю глубину моей ошибки. Не могу умолчать об одном курьезе, почти анекдоте, прекрасно характеризующем странную и смешную рассеянность, которой подвержены многие мыслители и ученые. Так, разбирая с г. начальником план нашей тюрьмы и восхваляя его, я с некоторой осторожностью, даже опаскою, осведомился о том, чем объясняется существование "общих камер для мошенников".

– Места мало. Для наиболее тяжких – одиночное, для всех прочих – по мере возможности.

Места мало – как это просто, мудро и ясно! А я, глупец, мнящий себя мыслителем, и не мог догадаться о том, что при избытке народонаселения одиночное заключение может быть уделом только избранных. Много званых, но мало избранных – или, как лаконично и красноречиво выразился мой высокопочитаемый начальник:

– Места мало!

Прежде чем рассказать, как воспользовался я сознанием моей ошибки в целях строения новой жизни, упомяну в нескольких словах о г-же NN. Как сообщили газеты, эта почтенная дама скончалась и притом при весьма загадочных обстоятельствах, намекающих на возможность самоубийства. Горе ее мужа и осиротевшей семьи не поддается описанию. Так говорят газеты. С своей стороны, я сильно, однако, сомневаюсь, чтобы здесь действительно имело место самоубийство, для которого я не вижу достаточных оснований.

Очень внимательно и серьезно рассмотрев все то, что произошло на нашем свидании, я пришел к весьма грустному выводу, с которым не может не согласиться мой благосклонный читатель: несомненно, что г-жа NN *лгала*, уверяя, что не любит мужа, от которого имеет полдюжины детей, а любит меня. Конечно, я не могу строго отнестись к этой наивной лжи, вполне естественно объясняемой тем экзальтированным состоянием, в котором находилась при свидании моя старая подруга. Просто сознаться в том, что она мне изменила, г-жа NN не могла и, естественно, прибегала к некоторым украшениям и легкому, чисто женскому<sup>75</sup> сочинительству, желая доставить приятное как мне, так и себе. Чувствуя некоторую, в действительности ничтожную вину передо мною, она слишком торопилась ее загладить; не могу, к сожалению, одобрить *всех мер*, предпринятых ею в этом направлении. Глубоко убежден, что, возвратившись к своему достойному супругу, в котором она не может не чтить отца своих шестерых детей, она сама рассказала ему о нашем потешном свидании – умолчав,

---

<sup>75</sup> Уверен, что мои очаровательные читательницы не посетуют на меня за эту фразу: в ней я хочу только противопоставить красивую и легкую женскую ложь всегда тяжеловесной и грубой лжи мужчин.



конечно, о некоторых подробностях, которые могли быть ему неприятны.

Чуть не забыл упомянуть, что г-же NN удалось каким-то образом узнать мой адрес, и она прислала мне несколько писем, которые я вернул нераспечатанными, не рассчитывая найти в них ничего нового и интересного, кроме все тех же полуживых излияний. А за несколько дней до своей внезапной кончины, кажется, за неделю, она приезжала сама, но не застала меня дома – я был у г. начальника нашей тюрьмы.

Среди венков, украшавших гроб г-жи NN, был один, привлекавший общие взоры своей оригинальной формой: это была красиво сплетенная решетка из кроваво-красных роз. И надпись на венке гласила: "От неизвестного друга. Отдохни, усталое сердце".

Последнее, что остается мне добавить для полного и окончательного расчета с этой жизнью – я отказался от предполагаемого турне, несмотря на горячие просьбы и мольбы моего импресарио. Может быть, впоследствии я и соглашусь на чтение лекций, – но сейчас у меня нет что-то охоты беседовать с этим легкомысленным народом, одинаково готовым, как неразборчивое животное, пожирать правду и ложь. Как, вероятно, тоскуют великие актеры перед этой благосклонной публикою, которую легче обмануть, чем ворону, и которую никогда нельзя обмануть, потому что вера ее – обман. И минутами, когда мне хочется посмеяться, я представляю себе дьявола, который, со всем великим запасом адской лжи, хитрости и лукавства, явился на землю в тщеславной надежде гениально солгать, – и вдруг оказывается, что там просто-напросто не знают разницы между правдою и ложью, какую знают и в аду, и любая женщина, любой ребенок в невинности глаз своих искусно водит за нос самого маститого артиста!

Но мне не до шуток, как бы ни были они забавны; меня ждет иная, великая, светлая работа, и к ней я тороплюсь, с сожалением покидая моего любезного читателя. Надеюсь, впрочем, завтра же свидеться и рассказать кое-что новое.

## Часть 12

### *Двадцать второе октября 19... года, воскресенье*

Со странным чувством открыл я эти залежавшиеся листки. До завтра, сказал я моему неведомому читателю, не предполагая, что не одни сутки, а целых три года пройдет до той минуты, когда возобновлю я прерванную беседу. И только из желания всегда доводить до конца то, что я начал, набрасываю я эти последние строки.

Если успел измениться за эти года мой неведомый друг – читатель, то еще в большей степени изменился я в условиях моей новой жизни. С грустной улыбкой, иногда с недоумением, иногда возмущаясь глубоко, проглядел я написанное. Кому это нужно? – разве я не один? А я все искал кого-то, хотел кого-то убедить, мучился сознанием, что мне не верят, и – часто лгал. Да, теперь я могу откровенно сознаться: я очень много лгал в этих бесцельных и наивных записках<sup>76</sup>. Зачем я делал это – разве я не один? И что значат какие-то жалкие правда и ложь в сравнении с тем грозным и великим, что ношу я сейчас в моей одинокой душе. Как жалкий актер, я искал каких-то бессмысленных аплодисментов и кланялся низко праздному зеваче, заплатившему гроши, чтобы увидеть меня, – когда тут же, в темноте кулис, поджидала меня голодная Вечность! Не довольствуясь сознанием, что я невиновен, я все время пытался зачем-то доказать мою чистоту – точно кому-нибудь и действительно нужна моя чистота. Впрочем, не буду распространяться: уже скоро тюремщик погасит свет в моей камере, а возвращаться снова к этим запискам я не хочу.

Вернусь к тому отдаленному времени.

---

<sup>76</sup> Особенно неприятен в этом отношении мой рассказ о появлении призрака, в котором больше литературного таланта, чем правды.

После долгих, теперь не совсем понятных мне колебаний я решил наконец восстановить для себя во всей строгости систему нашей тюрьмы. Для этой цели, найдя на окраине города небольшой дом, отдававшийся в долгосрочную аренду, я нанял его; затем, при любезном содействии г. начальника нашей тюрьмы, всю глубину благодарности к которому я не могу выразить словами, я пригласил на новое место одного из опытнейших тюремщиков, человека еще молодого, но уже закаленного в строгих принципах нашей тюрьмы. Пользуясь его указаниями, а также советами все того же обязательного г. начальника, нанятые мною рабочие превратили одну из комнат в точное подобие камеры. Как размеры, так и форма и все подробности моего нового и, надеюсь, последнего жилища строго соответствуют плану. Размеры моей камеры 8 на 4; высота 4; стены внизу покрашены серой краской, верх же их, а равно потолок остаются белыми; вверху квадратное окно 1 1/2 на 1 1/2 с массивной железной решеткой, уже успевшей заржаветь от времени; на двери, запираемой тяжелым и прочным замком, издающим звонкий лязг при каждом повороте ключа, небольшое отверстие для наблюдения, а ниже его форточка, в которую подается и принимается пища. Обстановка камеры: стол, стул и привинченная к стене кровать; на стене Распятие, мой портрет и в черной рамке правила о поведении заключенных, а в углу шкаф с книгами. Последний, являясь нарушением строгой гармонии моего жилища, вызван крайней и печальной необходимостью: тюремщик решительно отказался быть моим библиотекарем и выдавать мне книги по списку<sup>77</sup>, а нанимать для этой цели особого человека мне показалось излишним чудачеством. И без того при осуществлении плана я встретил сильную оппозицию не только со стороны местного населения, которое попросту объявило меня сумасшедшим, но и со стороны лиц более просвещенных. Даже г. начальник некоторое время безуспешно пытался отговорить меня и только под конец пожал мне руку, выразив искреннее сожаление, что не может предоставить мне места в нашей тюрьме.

Не могу без горькой улыбки вспомнить первый день моего заключения: толпа наглых и невежественных зевак с утра до ночи галдела у моего окна, задирая голову кверху (моя камера находится во втором этаже), и осыпала меня бессмысленными ругательствами; были даже попытки – к стыду моих сограждан! – разгромить мое жилище, и один довольно увесистый камень чуть не раздробил мне голову. Только вовремя явившейся полиции удалось предотвратить катастрофу. Когда же по вечерам я выходил на мою прогулку, сотня глупцов, взрослых и детей, провожала меня с гиком и свистом, осыпая бранью, даже бросая в меня грязью. Так, подобно гонимому пророку, бестрепетно совершал я мой путь среди беснующейся толпы, на удары и проклятия отвечая только гордым молчанием.

Что возмутило этих глупцов, чем оскорбил я их пустую голову? Когда я им лгал – они целовали мне руки; когда же во всей строгости и чистоте я восстановил святую правду моей жизни, они разразились проклятиями, они заклеили меня презрением, забросали грязью.

---

<sup>77</sup> Впрочем, в настоящее время я читаю только Евангелие: как я ни крепок, но жить мне осталось немного, я должен торопиться, и других книг мне некогда читать. Все мои дни и часть ночей, пока не погаснет свет, провожу я над этою единственной в мире книгой и заставляю ее открыть мне свой истинный, свой сокровенный смысл. С торопливостью, к какой вынуждает меня возраст и неотвратимая близость могилы, я пытаю каждое слово, междустроиче я заселяю иными, несказанными словами и мыслью моею, как железными щипцами, дроблю жесткую скорлупу колючих недомолвок. Но сопротивление, которое оказывает книга, поразительно сильно и временами доводит меня, – мне стыдно в этом сознаться, – почти до неистовства: даже под пыткой слова молчат, и за жесткою скорлупою, разбитою с таким трудом, я нахожу странную и несомненно лживую пустоту. И вновь торопливо ищу я, пронизывая моим испытующим взором дрожащие испуганные страницы, – и я найду то, чего я ищу.

Примечание к примечанию. Как велико мое рвение, об этом может свидетельствовать тот курьезный факт, что мой честный тюремщик особенно строго и зорко следит за мною именно в то время, когда я читаю. Желая успокоить его, я предложил ему, в свободные от его службы часы, почитать Евангелие; и с наивным суеверным страхом он ответил: "Если это та самая книга, которую читаете и вы, то я еще не хочу иметь такой вид, как у вас: кто станет сторожить вас, когда и я стану таким?"

Так пугает профанов напряженная работа духа.

Их возмутило, что я смею жить один и не прошу для себя местечка в общей камере для мошенников. Как трудно быть правдивым в этом мире!

Правда, моя настойчивость и твердость под конец покорила их: с наивностью дикарей, чтущих все непонятное, уже со второго года они начали кланяться мне и кланяются все ниже, потому что все больше их удивление, все глубже страх перед непонятным<sup>78</sup>. И то, что я никогда не отвечаю на их поклоны, внушает им восторг; и то, что я никогда не отвечаю улыбкой на их льстивые улыбки, внушает им твердую уверенность, что в чем-то огромном они виноваты передо мною и что я знаю их вину. Изверившись в словах своих и чужих, они благоговеют перед молчанием моим, как благоговеют они перед всяким молчанием и всякою тайною. И вдруг заговори я, – я снова стану для них человеком и разочарую их горько, что бы я ни говорил; в молчании же моем я становлюсь подобен их вечно молчащему Богу<sup>79</sup>. Во всяком случае, их женщины уже считают меня святым; и те кланяющиеся женщины и хворые дети, которых нередко нахожу я у порога моего жилища, с несомненностью ждут от меня пустяка – исцеления и чуда. Что же, пройдет еще год или два, и я стану творить чудеса нисколько не хуже тех, о каких рассказывают они с таким восторгом. Станные люди, порою мне становится их жаль, и я не на шутку начинаю сердиться на дьявола, который так искусно смешал карты в их игре, что только шулер знает правду, свою маленькую шулерскую правду о накрапленных фальшивых дамах и столь же фальшивых королях. Слишком низко кланяются они, однако и это мешает развиваться чувству жалости, а то – улыбнись на мою шутку, благосклонный читатель! – я и вправду не удержался бы от соблазна сотворить два-три небольших, но эффектных чуда.

Вернусь к дальнейшему описанию моей тюрьмы.

Устроив окончательно мою камеру, я поставил тюремщику альтернативу: или он будет во всей строгости соблюдать по отношению ко мне все правила тюремного режима и тогда по духовному завещанию получит все мое состояние; или же – не получит ничего. Казалось бы, при такой ясной постановке вопроса я уже не встречу затруднений, но при первом же случае, когда за нарушение какого-то правила меня следовало посадить в карцер, этот наивный и робкий человек наотрез отказался исполнить это; и только угрозой немедленно пригласить на его место другого, более добросовестного тюремщика я принудил его выполнить свою обязанность. Равным образом, весьма исправно запирая двери, он первое время решительно пренебрегал своей обязанностью наблюдать за мною в глазок; и если я, в целях испытания его твердости, предлагал ему, в ущерб здравому смыслу, изменить какое-нибудь правило, он охотно и быстро соглашался на это. И однажды, уличив его таким образом, я сказал ему:

– Мой друг, ты попросту глуп. Ведь если ты не будешь наблюдать за мною и как следует стеречь, то я убегу в другую тюрьму и унесу с собою завещание. Что будешь делать ты тогда?

Счастлив сообщить, что в настоящее время все эти недоразумения уладились, и если я могу на что-нибудь пожаловаться, то скорей на излишнюю строгость, чем на снисходительность: совершенно войдя в свое положение тюремщика, этот честный человек уже не для корысти, а во имя принципа обращается со мной с крайней суровостью. Так, в начале этой недели он решил меня посадить на сутки в карцер за провинность, которой, как мне казалось, я не совершал; и, протестуя против кажущейся несправедливости, я имел непростительную слабость сказать ему:

– В конце концов я возьму и прогоню тебя. Не забывай, что ты служишь у меня.

---

<sup>78</sup> Я уверен, что их пугает даже мой вид: уже давно перестал я подстригать мои седые волосы и бороду, и их естественный беспорядок, придающий моей голове сходство с головою короля Лира, потерявшего дочерей, кажется им ужасным. Но мне некогда заниматься пустяками.

<sup>79</sup> Ибо и Богу своему перестают верить эти странные люди, как только заговорит их Бог.

– А пока ты меня прогонишь, я все-таки тебя засажу, – с честною грубостью ответил мне этот достойный человек.

– А как же деньги? – удивленно возразил я. – Ты же лишишься их?

– А разве мне нужны твои деньги? Я отдал бы все свои деньги, чтобы не быть тем, что я есть. Но что же я могу поделать, если ты действительно нарушил правило и я должен отвести тебя в карцер?

Я не в силах передать того радостного волнения, которое охватило меня при мысли, что и в эту темную голову вошло наконец сознание долга, и что теперь если бы даже я пожелал, поддавшись слабости, уйти из моей тюрьмы – мой добросовестный тюремщик не допустит меня до этого. Решительный огонь, сверкающий в его круглых глазах, ясно показал мне, что всюду, куда бы я ни убежал, он найдет меня и приведет обратно; и что револьвер, который прежде он так часто забывал положить в кобуру, а ныне чистит ежедневно, действительно сослужит свою службу, вздумай я бежать. И впервые за эти года я с счастливой улыбкой заснул на каменном полу темного карцера, в сознании, что план мой увенчался полным успехом, перейдя из области почти что чудачества в область грозной и суровой действительности; и тот страх, который, засыпая, почувствовал я к моему тюремщику, к его решительным глазам, к его револьверу, робкое желание услышать его похвалу и вызвать, быть может, даже улыбку на его неподкупных устах – отдались в моей душе гармоничным звоном извечных и последних кандалов.

Так доживаю я мои последние годы. По-прежнему крепко мое здоровье и светел свободный дух. Пусть одни назовут меня безумцем и в жалком ослеплении посмеются надо мною; пусть другие признают меня святым и будут ждать от меня чудес; пусть праведник для одних, для других я лжец и обманщик – я сам знаю, кто я, и не прошу о понимании. И если найдутся люди, которые упрекнут меня в лживости, в неблагородстве, даже в отсутствии простой чести, – *ведь до сих пор есть негодяи, уверенные, что я совершил убийство*, – то ничей язык не повернется, я уверен, чтобы обвинить меня в трусости, в том, что до конца я не сумел выполнить свой тяжелый долг. С начала до конца оставался я сильным и неподкупным; и страшилище, изувер, темный ужас для одних, в других, быть может, я пробужу героическую мечту о безграничной мощи человека.

Уже давно прекратил я прием посетителей, и со смертью г. начальника нашей тюрьмы<sup>80</sup>, единственного неизменного друга, которого изредка я посещал, у меня порвалась последняя связь с этим миром. Только я да мой свирепый тюремщик, с безумной подозрительностью отслеживающий каждое мое движение, да черная решетка, схватившая в свои железные объятия бесконечное, как намордник, закрывшая его зловещую пасть, – вот и вся моя жизнь. Молчаливо принимая низкие поклоны, в холодном отдалении от людей, прохожу я мой последний путь. И все чаще я думаю о смерти, но и перед нею не склоняю я моего бестрепетного взора: сулит ли она мне вечный покой или новую неведомую и страшную борьбу – я покорно готов принять и то и другое.

Прощай, мой дорогой читатель! Смутным призраком мелькнул ты перед моими глазами и ушел, оставив меня одного перед лицом жизни и смерти. Не сердись, что порою я обманывал тебя и кое-где лгал: ведь и ты на моем месте солгал бы, пожалуй. Все же я искренно любил тебя и искренно желал твоей любви: и мысль о твоём сочувствии была для меня немалою поддержкою в тяжелые минуты и дни. Шлю тебе мое последнее прощанье и *искренний совет*, забудь о моем существовании, как я отныне и навсегда забываю о твоём.

Часы моих прогулок, установленные мною с начала заключения, приноровлены к вечернему времени, которое я так люблю за его мирную тишину угасания. Не имея защищенного двора, я невольно должен был отступить от строгих правил и совершать прогулку "на свободе". Впрочем, мой строгий друг тюремщик поговаривает, что это надо

---

<sup>80</sup> Продолжительная и тяжелая болезнь почек подкосила наконец этот могучий организм, и г. начальник тихо опочил под рукою безжалостной смерти. Горе его осиротевшей семьи не поддается описанию.

прекратить, что для него становятся слишком тяжелыми те беспокойные три четверти часа, которые провожу я вне его надзора, И недавно на нашем дворе появился какой-то загадочный кирпич: кажется, *он* хочет обнести мою тюрьму каменной стеною. Вообще он становится все строже. До сих пор я ходил гулять один, но со вчерашнего дня нас выходит и возвращается двое: впереди иду я, а сзади, в двух шагах, не сводя с меня глаз, идет *он*.

Обычный путь для прогулки таков: я дохожу до нашей тюрьмы, находящейся в четверти версты от моей, несколько минут провожу в созерцании ее и затем, поспешно, дабы не опоздать, возвращаюсь к себе.

Пустынное поле, поросшее бурьяном, лишенное всякого эха, глухим ковром подходит к самой ограде нашей тюрьмы, величавые очертания которой покоряют мое воображение и мою мысль. Когда озаряет ее прощальными лучами, угасая, дневное светило и, вся в красном, как царица, как мученица, с темными язвами своих решетчатых окон, она молчаливо и гордо поднимается над равниной, — я с тоскою, как влюбленный, шлю ей мои жалобы и вздохи и нежные укоризны и клятвы ей, моей любви, моей мечте, моей горькой и последней муке. Навеки остаться у ее ног хотел бы я, но вот оглядываюсь я назад — черный, в огненной рамке заката, неподвижно стоит *он* и ждет. И, вздохнув, молча иду я обратно, и за мною в двух шагах бесшумно движется *он* и сторожит каждое движение мое. При закате солнца наша тюрьма прекрасна.

*13 сентября 1908 г.*